Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ
с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

№ 9

2019

СОДЕРЖАНИЕ

МАНСУР ВЕКИЛОВ – 80

ПРОЗА

Надежда ИСМАЙЛОВА. *Рассказы* 13
Аладдин ЯГУБОВ. **Яным *(«Муму» XXI века)***. *Рассказ* 40
Ариф ГУСЕЙНОВ. **Калейдоскоп времени** 57
Лейла МИРЗОЕВА. **Эффект декомпрессии.** *Повесть* 105

ПОЭЗИЯ

Елизавета КАСУМОВА. *Стихи* 3
S. *Стихи* 35
Эльмира АЛИЕВА. *Стихи* 53
Марат ШАФИЕВ. *Стихи* 103

ПУБЛИЦИСТИКА

Надежда ИСМАЙЛОВА. **Ода поэту** 10
Таира ДЖАФАРОВА. **Аллочка.** *Эссе* 46
Ляман БАГИРОВА. **Визит к ускользающему.** *Эссе* 127

ГГлавный редактор – **Солмаз ИБРАГИМОВА**

Зам.главного редактора – **Елизавета КАСУМОВА**
Ответственный секретарь – **Эльдар ШАРИФОВ-СЕЙШЕЛЬСКИЙ**
Отдел прозы – **Надир АГАСИЕВ**
Отдел поэзии – **Алина ТАЛЫБОВА**
Отдел подписки и рекламы – **Джамиля ШАРИФОВА тел: (055) 846-98-49**
Литсотрудники – **Ниджат МАМЕДОВ, Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА**
Корректор – **Анна КУЗЁМКИНА**

Редакционная коллегия: ***Почетный аксакал «Л.А.» Сиявуш МАМЕДЗАДЕ,***
Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос-Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ

Литконсультант – **Натиг РАСУЛЗАДЕ**

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве печати и информации Азербайджанской Республики
Регистр. № 352

Адрес редакции:
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53
Электронный адрес: litaz1931@gmail.com
Тел: 493-86-04
Сдано в печать 19.08.2019г.
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16
Печать офсетная, 8.25 печ. л.
Тираж 400
Отпечатано в типографии «OL»NKPT MMC
Тел.: 497-36-23
Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
В публикуемые материалы редакция вносит необходимую правку.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «OL»NKPT MMC

© «Литературный Азербайджан», 2019 г.

МАНСУР ВЕКИЛОВ – 80

ЕЛИЗАВЕТА КАСУМОВА

МАНСУРУ ВЕКИЛОВУ

Поводырь мой в страну Поэзию,
Мой маяк средь высоких стихий,
О которых ночами грезила, –
Все тебе посвящаю стихи.

Звезда по прозванью Мансур

Вот и восемь десятков –
Ты не дожил всего один...
Если смерть наступала на пятки,
Не играл с нею в прятки
Избежал настоящих седин:
Тебя не дождалась
Старость –
С уходящими силами,
С ночами унылыми,
С гаснущими желаньями,
Слабостью рук и ног...
Ты б так жить, наверно, не смог –
Чтоб беречь каждый вздох
Своих легких усталых,
И подсчитывать,
Сколько осталось...
Ты привык не считать,
Словно мелочь в кармане,
Каждый прожитый день,
Отмеряя чувства по каплям,
Чтобы не подорвать организм,
Поберечь уставшие нервы...
Ты всегда подчинялся
Порывам первым,
И вопросами не задавался:
Для чего и зачем,
И что дальше?
Жил без лжи и без фальши,
И в мэтры не метил...
Сколько было тобою подарено тем
Любителям сплетен!
Ты был волен, как свежий ветер
Над просторами моря...
Ты и в этом остался волен –
В сроке ухода.

Ты сам его выбрал,
И – ушел, удалился, выбыл...
И остались стихи –
Ироничные, нежные,
С рифмами свежими,
Не похожие ни на чьи.
Порою неровные, нервные,
Словно пульс на виске,
Словно пламя свечи,
Колышущееся на сквозняке –
Вот-вот и погаснет...

Я читаю их, не дыша,
И поет, и плачет душа,
То ль от боли,
А то ли – от счастья,
И звучат в ней, счастливя и мучая,
Колдовские твои созвучья...

...Друг за другом спеша вереницей,
Дни неслись. Жизнь спешила, бежала...
Твой сентябрь последний умчался...
Я с тобой не успела проститься.
А ты со мной попрощался –
Просто я об этом не знала:
Дом твой, улица,
Чьи-то лица...
Взмах руки,
Взгляд тоскливый вслед,
Что уже десять лет
Мне снится...

На могиле твоей,
На серой могильной плите –
Траурные гвоздики,
Словно алые горькие вскрики
Об ушедшей звезде
По прозванью Мансур...
Глаз знакомый прищур
И улыбки печальный мазок.

И над ними – созвездия строк...

Не бойся

Не бойся остаться голодным –
Стать опасайся пресыщенным.
Не бойся остаться нищим,
Хуже – утратить свободу
Иль оказаться лишним
На жизненном небосводе.

Голод – приют вдохновения,
Стремления к утолению,
А значит – к свершенью, к движенью
И целей своих достиженью.
А если все надоело,
Безвольно сытое тело
Возлежит на мягком диване,
Душа ничего не желает,
Не рада солнца восходу,
Жизнь превратится в болото –
Затхлое, серое, грязное...
И ты в нем тихо увязнешь –
Засосет, проглотит, затянет,
И тебя в этой жизни не станет.

Модный вирус

Мода на астрологов, на магов,
И – на внеземные голоса...
Если бесконечны передряги,
Остается верить в чудеса.

И плодятся маги и факиры,
Занимая прессу и экран.
Нет от них спасенья и в эфире –
Лжи и фальши плещется фонтан.

Проникает всюду этот вирус,
Оболванивая всех подряд,
И в тревоге люди говорят:
Как бы к нам пришельцы не явились!

Перестаньте, это же маразм!
Разве нет забот у вас других?
Но тускнеет и сдается разум
Пред психологической заразой,
Поразившей общества мозги.

Свобода и воля – превыше всего

Свобода и воля превыше всего,
Превыше богатства и благополучья.
Богатство без воли – рабства не лучше.
Свобода и воля превыше всего!

Богатству своих преимуществ не счесть,
И все же иную я выберу долю.
Купить можно все, даже совесть и честь.
Но – не продаются свобода и воля.

И потому у родных берегов
Навеки останусь я вольной волною.
Свобода и воля – превыше всего.
Утратить их – значит, расстаться с собою.

Новое утро

Воспели из ночи высот глухих
Утра глашатаи, петухи,
И утро новое возгласили –
Кончились ночи темные силы.

И значит – боли и смерти нет!
И скоро снова придет рассвет,
И сгинет выжженная дотла
Ночная мгла.

И ты увидишь,
что солнце вышло
И ярким цветком
распустилось пышно
Над в небо
врезанной
телевышкой.

Сплин

Стихи разлюбила –
Нет сил для полета.
Растрачены силы
На что-то, на что-то.

Все было зачем-то,
К чему-то, случайно,
Когда-то и с кем-то,
Бесцельно, нечаянно.

Брела без дороги,
С пути, видно, сбилась.
Исхожены ноги,
Душа утомилась.

Душа воет волком,
Сроднившись с тоскою,
И хочется только
Покоя, покоя.

К чему?

К чему писать печальные стихи –
Чтоб с кем-то поделиться своей болью?
Вновь вспоминать обиды и грехи,
Вновь раны посыпать, рыдая, солью...

Все это глупо. Глупо и – смешно.
Кому нужны рыданья и стенанья?
В ком отыскать хотите состраданья?
У всех своих проблем полным-полно.

Одинокий купальщик

Погода испортилась. Близится шторм.
Но в море маячит, все дальше и дальше,
Среди одуревших, взбесившихся волн
Отважный пловец – одинокий купальщик.

На пляже завьюжившем нет ни души,
А тучи по небу – как кони лихие,
И суд над безумцем суровый вершит
Вконец обезумевшая стихия.

Но он, уже выбившийся из сил,
Все ж ухватил удачу за жабры:
Он выплыл, он выжил, он – победил,
Еще раз восславив безумство храбрых.

Хотеть – не вредно

Хочу быть единственной,
а не первой,
Если талантливой –
то безмерно,
Хочу быть Солнцем,
не просто – звездой,
И – вечно юной,
а не молодой.
Во всем мне нужен
лишь первый приз,
Я не хочу быть
«одною из»!..

Но все хотенья –
это пустое,
На этот счет
обольщаться не стоит.
И все же стремленья –
они не напрасны:
Мечтать – не вредно,
желать – прекрасно.

Как хочется солнца!

Падает дождь –
Холодный, как ложь.
И время неотвратимо
Проносится мимо.
Давит на грудь одиночество,
И просыпаться не хочется,
И думаешь:
Где бы найти кукушку,

Чтобы накуковала,
Сколько осталось,
И – плачешь в подушку.
И гнетет тишина,
Что над ухом повисла,
И тебе так нужна
Хоть капелька смысла
Для того, чтобы встать и идти
По пути,
Что еще простирается вдаль
Под небом, серым, как сталь.
И дрожит у виска
Такая тоска,
Что умом можно тронуться...
Ах, как хочется Солнца!

Сигарета

N.N.

Без мужчин ты не можешь
И старательно множишь
Их число.
И с завидною страстью
Ищешь женского счастья
Долгожданного. Но
Ты для них – сигарета,
Разновидность десерта...
Будем честными,
Это – правда.
Ты для них – сигарета,
Которой соседа
Угостят, если надо.
Ты исчезнешь бесследно –
Только горсточка пепла
Сразу, как будешь выкурена.
Стоишь ровно монету...
И не нужно при этом
Слов туманных и выспренних.
Ни при чем здесь амуры,
Подымят и – окурок
Выбросят в полночь,
И, листая газету,
«Вот, была сигарета» –
Только это
И вспомнят...

Ты прости, что жестоко,
Что забыла про жалость,
Но чтоб больно, до вздрога, –
Только это осталось...

Что ни слово – ложь...

Гороскопы лгут,
И прогнозы лгут,
Обещают солнце,
За окном - дождь.
Сочинять не ленятся,
Что ни слово – ложь...
Лгут политики,
Привирают критики,
Астрологи и мистики.
Жены лгут мужьям,
А мужья – женам,
Обещанья – спам
В обществе, зараженном
Фальшью и ложью...
Очень жить сложно
Когда там и тут
Лгут.

Чернуха

Отовсюду
лезет в ухо
разномастная
чернуха:
предрекают
конец света,
столкновение с планетой,
наводненье, грипп свиной,
или птичий,
иль иной –
то ль – гусиный,
то ль – ослиный,
но – до ужаса опасный!
Угрожают ежечасно,
Нагнетают,
всех пугают –
потеплением глобальным
и жарою аномальной,
обещают всем потоп...
Ужасается народ:
«Конец света?
Завтра, в пять?!
Нужно срочно закупать
Крупы и, конечно, свечи»...
Ах, народ, народ, народ,
До чего же ты доверчив!

НАДЕЖДА ИСМАЙЛОВА

ОДА ПОЭТУ

Более 10 лет назад ушел из жизни замечательный Поэт и Человек, главный редактор журнала «Литературный Азербайджан» МАНСУР ВЕКИЛОВ.

В его жилах текла кровь славного рода газахских агаларов. Ему было предназначено продолжить семейную традицию. Его ждала спокойная, проторенная дорога: сын министра здравоохранения республики мог рассчитывать на благополучную, обеспеченную карьеру врача. Но он разрушил надежды родителей, выбрав другой путь – тернистый, мучительный, непредсказуемый. Он и сам как будто удивлялся, почему ему

больше по душе
Рвануть, качнуться на последнем вираже,
Рвануть, качнуться и – взлететь.
Потом – упасть,
И спицы – вкось,
И мысли – врозь,
И время – вспять.

Мы с Мансуром были знакомы со студенческих лет, вместе учились в Азербайджанском государственном университете. Он был тогда жутко знаменит: его стихи выходили в республиканской прессе, он был самым красивым на факультете – мечтой «филологических девиц». С ним было весело, он классно читал стихи, особенно любимого им Маяковского. Он создавал теплый микроклимат в нашем студенческом интеллектуальном пространстве.

Интересно, что и в 40, и в 50, и в 60 лет он не изменил своим убеждениям. Он верил, что друзья – наши жизненные союзники, наш бесценный капитал. Они принимают нас такими, какие мы есть, со всеми нашими проблемами и недостатками. Любовь друзей он никогда не подвергал сомнению, даже если он ошибался, оступался, попадал в полосу невезения и депрессии. А таких «полос» было немало в его жизни.

Его действительно любили друзья. И он их любил, посвящая им трогательные, шутливые строки.

«А что, Фикрет, махнем в Агдаш, хоть на субботу! Пуст поэтический ягдташ, бедна охота», – это поэту Фикрету Годжа.

Есть замечательные посвящения писателям: Максуду Ибрагимбекову, Анару, Сиявушу Мамедзаде, актеру Мабуду Магеррамову, своим любимым сестрам Аделе и Наиле.

И – очень грустные строки об ушедших друзьях:

Я много потерял друзей –
Нет пустоты

В душе моей,
А есть одно лишь
Сожаленье,
Что к их приговорен
Лишенью.

Под этими строками подписался бы каждый из его товарищей, особенно сейчас, когда Мансур ушел из жизни. Это чувствуется в их воспоминаниях о друге.

Поэты – особая категория людей. В минуты озарения настоящему поэту удается почувствовать то, что не дано другим. Порыв вдохновения рождает необъяснимое чудо, именуемое поэзией, которое радует, волнует и надолго остается в благодарной памяти. Мансур Векилов был поэтом. Настоящими поэтами бывают только красивые, благородные люди. Таким был Мансур Векилов.

МАКСУД ИБРАГИМБЕКОВ, писатель

…Мы были знакомы тысячу лет, с молодости. Любили ездить в районы за вдохновением. Открывали новые места и новых людей. Мы неделями жили в Мингечауре, встречали рассвет на Шемахинском перевале. Стихи «А что, Фикрет, махнем в Агдаш, хоть на субботу!» – как раз из того славного времени, когда мы открывали новые места, новых людей, новые поэтические формы. И говорили, говорили, говорили о поэзии и жизни.

Мансур был ярким и прозрачным человеком: что думал, то и говорил, и писал, что думал. Я любил его чистые, искренние стихи. Переводил их на азербайджанский. Он переводил мои – на русский; был редактором моего лучшего сборника. Мы провели вместе много лет, вся жизнь моя прошла вместе с ним. И вдруг...

…Мне так его не хватает. У меня мало друзей: наверное, много друзей не бывает, таких, с которыми говоришь ежедневно обо всем. Я и продолжаю говорить с Мансуром. Он поменял мир, но не ушел. Он будет со мной всегда. Пока я живу, Мансур, ты будешь рядом.

ФИКРЕТ ГОДЖА, поэт.

…Сожалею только об одном – о том, что не дообщался с Мансуром. Мы все суетимся, торопимся, спешим, бежим куда-то, думаем, что впереди вечность. Еще позвоним, встретимся, посидим, поговорим. И вдруг – бац! Звонок. Умер Мансур. Брешь. Пустота, которую ничем не заполнишь. Невосполнимая потеря.

У нас были теплые, доверительные отношения. Обычно он звонил по утрам и читал свои новые стихи. Он был теплым, отзывчивым человеком. Ходил на все мои спектакли, делился впечатлениями.

Один из последних его звонков был очень грустным. Он не жаловался, но то, что он прочел, было невыносимо печальным:

Старею, умираю понемногу,
Как солнца луч на мерзнущей стерне,
Насколько я подыгрываю Богу,
Настолько Бог подыгрывает мне.

МАБУД МАГЕРРАМОВ, актер.

…Я из тех, кто пришел в литературу как бы «с улицы». Неизвестный начинающий литератор из неизвестного откуда. Без связей, без протекции, без диплома. Взял и представил в «Литературный Азербайджан» свои первые рассказы. Вот так просто. И, конечно, не верил в позитивный исход. Вдруг звонок. Главный редактор. Говорит: «Отлично, молодой человек. Мы будем вас публиковать», и предложил писать дальше. Так пришел в литературу не только я. Мансур-муаллим открыл дорогу многим молодым поэтам и писателям. Он говорил: «Работай, и удача обязательно тебе улыбнется». Он был объективен и смел. Он отстаивал на коллегиях талантливые произведения, он не оглядывался на авторитеты. Поступал так, как считал правильным. Он был гарантом того, что написанное, если оно талантливо, получит признание, будет напечатано. Это был главный редактор, о котором мечтает каждый писатель. Честный, доброжелательный, чуткий, он обладал отменным литературным вкусом. У него было чутье на новое, оригинальное. В начинающих он видел будущих «звезд». Я всегда говорю: меня открыл Мансур Векилов. Вселил веру, показал горизонты. Я буду вечно ему благодарен за это.

АЛЕКСАНДР ХАКИМОВ, писатель

…Чем старше становишься, тем больше увеличивается кладбище знакомых и друзей в твоей душе… 11 лет назад мы потеряли Мансура Векилова.

Я все время думаю, каким словом можно охарактеризовать этого человека?

Ведь это достаточно трудно – только одним словом. Был ли он талантливым человеком? Безо всякого сомнения. Принципиальным редактором? Конечно. Он мог открыто высказать любую критику, невзирая на лица и высокие должности. Любой секретарь Союза знал, что Мансур Векилов всегда откровенно говорит о произведениях, которые ему предлагают в журнал. И если они казались ему слабыми, он так и говорил, не пытаясь понравиться руководству или подстроиться под чужой стиль.

Но вместе с тем он был удивительно добрым человеком, начитанным, грамотным, интеллигентным. И немного подумав, я нашел слово, которым его можно охарактеризовать. Он был порядочным человеком.

Он был далеко не ангелом и дружил с Бахусом, особенно в молодые годы. Стали уже легендами его молодые подвиги с Фикретом Годжой. Но все это в прошлом. Возможно, этот уход в другую, параллельную жизнь был его внутренним протестом, своеобразным проявлением внутренней свободы.

Но он был настоящим Человеком, который встречается один раз на миллион, да и то, если очень повезет. До его нравственной высоты многим из нас еще нужно расти и расти.

… Его фотографии по-прежнему в кабинетах Союза. Сменившая его Солмаз Ибрагимова оказалась достойной заменой нашего друга, что бывает совсем нечасто. И наконец, его вспоминают сотрудники журнала, работники Союза, его друзья и коллеги. Добрыми словами и улыбками. А это, возможно, самое главное, что мы оставляем после себя людям. Добрую память о себе и своих делах.

ЧИНГИЗ АБДУЛЛАЕВ,
секретарь Союза писателей Азербайджана

Р А С С К А З Ы

Идеальное место для бойни

Ныне чёрный корабль на священное море ниспустим,
Сильных гребцов изберём, на корабль гекатомбу[1] поставим.

«Илиада»
Гомер

– Профессор, здесь лежат ноги, – раздался испуганный голос снизу.

– Чьи ноги?

– Не знаю… женские… в белых тапочках…

Когда на поляне появилась группа крепких молодых парней, я уже успела отползти за кусты можжевельника.

«Интересно, кто из них профессор?»

Парни были в одинаковых, цвета хаки, шортах, рубашках «милитари» и панамах, надвинутых на глаза.

– Где ноги?

– Вот здесь лежали ноги… в кедах, – долговязый парень с длинным носом не отрывал растерянного взгляда от земли.

Последним на холм поднялся мужчина лет пятидесяти. Короткая стрижка, очки в тонкой оправе, прикрывающие еле заметный шрам, рассекающий левую бровь, джинсы, темная плотная майка с рукавами, модные кроссовки. Он был похож на стильную птицу из редкой породы высоко летающих пернатых. Почему-то вспомнилось: «берегите людей, похожих на птиц».

– Так, где тут артефакт, который поверг вас в шок? – спросил он, задыхаясь от быстрой ходьбы.

«Профессор… поисковая партия. Геологи, археологи?»

– Ему всегда что-то мерещится.

– Мечтает встретить Азыхантропа…

– А тут Азыхантропица.

Парни дружно загоготали.

– Вот ромашки… примяты, – заикаясь, уточнил долговязый парень.

– Да, здесь кто-то был, – озадаченно произнес профессор, внимательно рассматривая следы, – ребята, проверьте кустарники. На острове – чужие.

…В жизни не видела ничего фантастичнее, чем этот остров. Зеленые пространства и море. И ни одной живой души. Только любопытные чайки, и этот удивленный кролик у моих ног – застыл, дрожа от страха. И вдруг помчался в своем великолепном беге, только уши мелькали среди ромашек. Полчаса назад наша лодка причалила к берегу. Был хороший день для съемок, и мы похвалили себя за то, что отважились на этот вояж. С утра поднялся ветер, он застал нас в Алятах, и тамошние рыбаки не советовали выходить в море. Мы видели, как они спешно собирали сети и расходились по домам. Но старый лодочник, усмехнувшись, сказал, что у ветров скоро будет пересменка: южный ветер уже уходит, а Хазри еще в пути: и между ними будет затишье часа на два, и если мы хотим, он берется в это «окно» отвезти нас на Гюлли. Конечно, мы захотели, нам для сюжета нужна была колония чаек.

[1] Гекатомба – жертвоприношение.

– Вот бы здесь пожить, – мечтательно сказал оператор.

– Да, только вот ларька пивного нет, – мрачно заметил лодочник.

– А вы точно знаете, что здесь есть гнездовья? – спросил режиссер, оглядываясь вокруг.

– Раньше я работал егерем на этих островах, гнездовья на другом берегу, километра два придется пройти пешком.

– О, мои несчастные ноги, я пас, подожду вас здесь.

– Не страшно остаться одной? – забеспокоился режиссер.

– А чего бояться, – ухмыльнулся лодочник, – здесь никого, кроме ханым, не будет.

Мужчины, нагруженные аппаратурой, резво зашагали за лодочником, а я осталась отдыхать на поляне. Одна в волшебном мире, лежала на спине, глядя в огромное небо. Так выглядит, наверное, рай. Вот бы поселиться здесь…

…Услышав «осмотрите кустарники», я поднялась во весь рост. Застывшие позы. Распахнутые в удивлении глаза. Первым пришел в себя профессор.

– А я вас узнал, что вы здесь делаете одна?

– Я не одна, моя группа снимает гнездовья чаек на том конце острова, а я изучаю этот библейский мир, – вздохнув с облегчением, улыбнулась, – я тоже узнала вас, профессор.

…В советской научной иерархии палеонтолог Дамиров не занимал первых мест, он даже не был академиком. И не потому, что для столь высокого звания не хватало научных трудов.

Труды были, и открытия мирового значения – тоже. Его «Гиппариновая фауна», за которую он получил доктора наук, защищая кандидатскую диссертацию, стала мировым биологическим бестселлером. А доисторический «неандерталец» из Азыха благодаря его изысканиям получил в науке мировое гражданство. Дамиров был признанным международным экспертом по различным разделам палеонтологии, антропологии и генетики. Но в своем отечестве ему как-то не везло. Почему?…

– Если не тайна, профессор, что вы делаете на Гюлли?

Ученый объяснил, что привез сюда своих студентов. Эти острова дают богатый материал исследователям. Завтра начнутся раскопки, а пока он отправил ребят к скалам ставить палатки для ночлега.

– Можно задать вам не совсем деликатный вопрос, – спросила я, когда мы остались одни,– почему вы не подаете на академика? Вы ведь настоящий ученый.

– Настоящий ученый СССР должен совершить восхождение на три уровня, – с улыбкой начал Дамиров, – стать кандидатом наук, стать доктором наук, стать гражданином США. Не хочу подниматься на третий уровень. А надо бы?

– Нет, конечно, Азыхантропа жалко. Без вас он не получил бы мирового гражданства.

– Аха-ха-ха… давно хотел познакомиться, – сказал Дамиров, – я ведь не пропускаю ни одной вашей программы. У вас прекрасная манера разговаривать, чуть придерживая дыхание... приглушая слова, вы создаете особую атмосферу общения, словно беседуете только со мной. Наедине со мной, как сейчас. И чудесный тембр голоса. «Ах, если бы то лето повторилось»...

– … «и ваша дача была бы по соседству с нашей…». Почему вы вспомнили Мушфига? Мечтаете о даче на Гюлли? Как раз сейчас и я думала об этом.

Дамиров ответил не сразу, будто прислушиваясь к шуму прибоя, который усилил внезапно возникший ветер. Лицо его сделалось серьезным, и шрам, рассекающий левую бровь, заметно побелел от видимого напряжения.

– Хочу вам кое-что показать, – наконец сказал он, – хотите посмотреть?

– Еще как!

– Это недалеко… прямо под вами. Вообще-то дам в такие места не водят, – он еще колебался.

– На острове есть неприличные места? – весело удивилась.

– Боюсь, вы пожалеете…

– Профессор, – сказала я с укоризной, – я не дама… я – телевизионный журналист… из породы непуганых баранов.

…По отвесному склону, еле удерживаясь на ногах – не за что было ухватиться – мы спустились к подножию холма. Лаз, к которому подвел профессор, был закрыт валуном, но он сдвинул его с места. С трудом протиснувшись в узкий проход, мы словно провалились в щель времени. Тьма, холод, как в Постойной яме, чавкающая грязь под ногами.

– Где мы? – меня охватило тревожное беспокойство.

Дамиров включил фонарик.

– Вот…

Трудно описать это «вот» – все оттенки смущения, страха, и какой-то отчаянной гордости…

– Что это?! – спросила я шепотом, не желая поддаваться страху, но ничего с собой не могла сделать.

В застывшей вулканической брекчии луч высветил огромную груду костей, целое скопище скелетов.

– Что за гекатомба?

– Останки …

– Чьи?

– Человеческие… я обнаружил их не так давно. Вначале не поверил себе, подумал, что ошибся, что это кости джейранов. Я так хотел ошибиться. Но подойдя ближе, ужаснулся. Обратите внимание, все скелеты без голов…

– Без голов … – повторила я в прострации, – да, голов нет…

Безотчетный страх охватил меня, к горлу подступила тошнота, – это доисторические люди?

– Они погибли лет пятьдесят назад.

– Как вы определили время смерти?

– Это несложно, – усмехнулся Дамиров, – если мы определяем возраст в пятьдесят тысяч лет, то пятьдесят – для нас не проблема.

– Значит, это случилось в тридцатых годах? Вы думаете, что Мушфиг здесь? – я качнулась, почувствовав, как душа бесшумно уходит в пятки, а за ней оседает тело.

Дамиров бросился на помощь, уронив фонарь. Свет погас. Приобняв меня за плечи одной рукой, он шарил по земле другой, чтобы найти светильник.

– Сейчас…сейчас…вы только не волнуйтесь, пожалуйста, ну, дурак же…

Видимо, на какое-то мгновение я потеряла сознание, потому что в темноте увидела скорбную голову поэта Мушфига с пришпиленной к горлу табличкой «№ 11903». Голова летала над грудой скелетов. Подумалось: «Ищет своё тело!»

– Вы вся дрожите.

– Хочу выйти отсюда, – прошептала я, – боюсь мертвых...

– Бояться надо живых, – он бережно, под локоть, почти вынес меня из расщелины.

…Боже, все на месте. Солнце, воздух, легкий и свежий, море, шум прибоя, остров. Мы стояли на пригорке, прислонившись к теплому склону холма.

– Простите, что я втянул вас в эту историю…

– Что это было?!

– Идеальное место для массовой бойни. Остров необитаемый, кричи не кричи, выстрелов никто не услышит: кругом море, а до города далеко.

– Почему вы думаете, что это расстрел, в телах были пули?

– Нет, но я нашел один скелет с головой, простреленной в затылок, и понял, в чем дело.

– Кто они: мужчины, женщины, дети?

– Нет, только мужчины от тридцати до пятидесяти пяти лет примерно…

– Расстрелянное поколение, – от потрясения я присела на камень, Дамиров опустился рядом.

– Кто-нибудь знает о вашей находке? Это ведь не простая находка?

– Конечно, я не собирался замалчивать, хотя такие советы звучали от разумных людей. Я сразу сделал сообщение на научном совете.

– И…

– Со мной беседовали серьезные люди.

– Что их интересовало?

– Источники информации. Они беспокоились, что я имею доступ к секретным документам. Я их разуверил. Им было важно знать, какие факты мне стали известны, а главное, что я собираюсь с этим делать…

– И все? А как насчет общественности, должна она знать о таком открытии?

– Общественность не стоит беспокоить, сказали веско: какие расстрелы, где пули? А если и были, может, где-то в другом месте, а здесь только прятали концы в кратер.

– А родные?

– Еще меня спросили: «Вы знаете, кто эти люди? Может, их завезли из другой страны?» – он тяжело замолчал.

– Скажите, профессор, вы не боялись, что ваша находка может принести вам неприятности, ведь эти секреты хранят до сих пор, хотя современные чекисты не имеют к ним никакого отношения?

– Не боялся, и делал это осознанно, видимо, накопилось во мне…

После долгой паузы.

– На протяжении всей моей жизни кто-то из моих родных обязательно упирался во власть. Неудачно упирался… моя тетя – племянница Нариманова, так вот, когда в 30-х боролись с «нариманoвщиной», сослали всех ее родственников, мои родители тоже ждали ареста, но пронесло. В 1952 году я окончил мединститут, и нас с братом «распределили» на Керченский полуостров. Фактически это была ссылка.

– А вас за что?!

– «Комсомольская правда» назвала нас «вейсманистами-морганистами в пеленках». Обвинение в буржуазных взглядах во времена разгула «лысенковщины» было сигналом беды.

– И он сработал.

– Еще как! Была невыносимая жизнь. Не потому, что приходилось быть врачом-универсалом: делать операции, принимать роды, рвать зубы… были жуткие климатические и бытовые условия, это был криминальный район, там орудовали банды, шли репрессии против крымских татар.

– Этот шрам на лице оттуда?

– Пустяки… мой брат там умер… А я вернулся только после суда над Берией... Теперь вот моя дочь вышла замуж за сына не очень удобного политического деятеля, – усмехнулся Дамиров.

– В чужом пиру похмелье?

– Да уж, это вносит в жизнь дискомфорт, но я всегда придерживаюсь правила: не вмешиваться в политику. Заниматься только чистой наукой … вам совсем плохо, да… вы такая бледная… Простите, не надо было вам показывать…

– Ничего… уже лучше.

– Каждый палеонтолог трагической эпохи протягивает миру отрубленную голову, которая для него особенно симпатична, – он усмехнулся виноватой улыбкой, осветившей все лицо.

– А вы не хотите поговорить со мной об этом в прямом эфире?

– А-у-у! – сверху раздался веселый смех и крики чаек – это мои ребята вернулись, и режиссер заторопил: надо до шторма успеть в Баку.

– Я подумаю, – профессор взял меня за руку, помогая подняться.

– С кем-то посоветуетесь или подумаете?

– Я уже пережил все страхи, милая леди.

– Люди, пережившие подобное, говорят, что страх перед чудовищем остается, даже если оно уничтожено… так что пойму любое ваше решение.

– Я вам позвоню.

Интервью с Дамировым вызвало шквал эмоций и разброс мнений. Нужно ли растравлять старые язвы, смущать покой людей, сеять раздор, когда уже нет в живых ни жертв, ни палачей. Звонили родственники репрессированных. Они хотели знать, где могила их близких, куда нести цветы в дни поминовения. Все сошлись на том, что обязательно надо поставить памятник жертвам репрессий. Но кто будет ездить на необитаемый остров? Кто-то советовал установить мемориал на бульваре, откуда увозили заключенных в последний путь. Но кто знает, где именно это место и на бульваре ли оно? Споры, советы, предложения, затем всё как-то стихло.

А потом позвонил Дамиров.

– Нам надо встретиться, – сказал взволнованно.

Трудно было выбрать для нашей беседы более удачное место и время, чем Приморский бульвар в Баку осенью. Мы устроились на верхней террасе кафе «Олива». Моросил дождь. Предзимнее, не греющее солнце, безмолвное море под нами, пустота бульварных скамеек, прощальный ущерб природы, – всё это сообщало особую горечь тому, что рассказал Дамиров.

…Первый звонок был в два часа ночи.

– Не пытайтесь узнать, кто я… Просто послушайте: вы на правильном пути… почти у цели… точно угадали… все скелеты без голов…

Каждую реплику мрачный старческий голос произносил с трудом, после раздумья, словно на кого-то оглядываясь. И смолк. Отбойные гудки. Дамиров застыл: весть с того света?

Снова звонок.

– … людей привозили на баржах, потом на лодках по два-три человека переправляли на остров и там казнили.

Лицо профессора посерело от напряженного внимания, шрам, наоборот, зловеще побелел.

– Почему скелеты без голов?!

– Головы отрезали после расстрела, выбрасывали в другое место, чтобы трупы не могли идентифицировать. Тела бросали в кратер. Никто не ждал такого скорого извержения вулкана.

Отбойные гудки.

– Да, я так и думал, – сказал Дамиров вслух. «Он позвонит, он должен позвонить», билась мысль. Дамиров прошел к бару, смешал в бокале джин с тоником.

Звонок. Он прижался к трубке, в тишине ночи напряг слух – ни малейшего звука.

– Пожалуйста, не молчите, раз вы отважились на звонок… прошу вас, не уходите, – боясь потерять собеседника, говорил он торопливой скороговоркой. – Вы все видели сами?

– Да, но я не убивал! Я не стрелял, я просто смотрел, молодой был… просто стоял в стороне, ждал, когда это кончится, а он так на меня смотрел… такими глазами…

Глухой протяжный стон или кашель? Слышно было, как старик куда-то пошел, забулькала влага. Потом заговорил сиплым голосом.

– Все это из-за проклятого интервью… Он умер сытый, еще на барже я отвел его в свой отсек и накормил пловом с цыпленком, мама дала мне на завтрак…

Дамиров слушал с всё нарастающим волнением.

– Кто на вас смотрел?

– Я подписал бумагу о неразглашении, – он швырнул трубку, она с шумом упала, телефон отключился.

И почти сразу звонок.

– Все было там… мороз, крики, плач, песни, смерть. Море крови, трупы… они не тонули, их запихивали в кратер баграми. Куча голов в моей лодке…. И эти глаза… а я что, я ни при чём, сказали, так надо, лес рубят, щепки летят… а я просто стоял. Всегда в мире так... кто-то кого-то убивает… столько крови… – в горле старика бурлило, хрипело и смолкло, словно он впал в забытье.

– Старик описывал мрачную бурную ночь на острове. И повторял, что был только свидетелем. Тем не менее, угрызения совести не дают ему покоя. Он стар и измучен, и рад, что тайна, которая жгла его все годы, раскрыта, что «он не унесет ее с собой». Вот как-то так, – закончил свой рассказ Дамиров.

– Он не захотел с вами встретиться?

– Нет.

– Последний живой свидетель.

– Последние свидетели – мертвые, – усмехнулся профессор, – и они самые опасные.

– Вы верите в жизнь после смерти?

– Я слишком много раскопал останков, чтобы в это верить. Но какая-то сила над нами, высший Разум, высшие законы Вселенной определенно есть. Эта регуляция не в мелочах, не в деталях – в глобальных процессах. Я чувствую ее ритм.

Он задумался, глядя в чернеющую морскую даль.

– Вот однажды на одном из островов проснется вулкан, рванет фонтаном и рассыплет вокруг головы… много голов, которые будут задавать неудобные вопросы…

– … и на них некому будет отвечать. Может, и не надо, чтобы вулкан просыпался?

– А высшие законы справедливости?

– А уроки истории?

– А история, моя прекрасная леди,– засмеялся Дамиров, – самая коварная дама, она оправдает все, что пожелает, из ее уроков можно извлечь любую политику, любую мораль, любую философию, на любой вкус. Важно, чтобы люди, пережившие ад, оставались в нашей памяти… как послание потомкам.

Незаметно стемнело, заволновалось сумрачное море, на грустно-сиротеющем бульваре зажглись фонари, и официанты «Оливы» разнесли светильники по столам.

– А давайте выпьем чай с чабрецом, лимоном… вы любите варенье из арбуза… у них варенье хрустящее, изумительное…

Голова на розовой подушке

Невыдуманная история с реальными персонажами

Вялое рукопожатие, недовольный вид:

– Простите, что заставил вас ждать, но хочу сразу предупредить: я собеседник скучный, неинтересный, и не очень представляю, о чем разговаривать. Обо мне все написано в мировых каталогах и наших энциклопедиях.

«Ну вот, началось!», – подумала я, и как раз в этот момент кто-то крикнул:

– Мири Аби! Выезжаем. Вы с нами?

– Нет, я подъеду минут через пятнадцать, – ответил мой собеседник, и я поняла, что говорить со мной он все-таки собрался. А пятнадцати минут мне хватит.

Мы стояли в переполненном фойе Союза Художников. Только что закончилось заседание секции живописцев, и все спешили определиться с транспортом, чтобы попасть на открытие первой частной галереи в Баку, но те, кто проходил мимо нас, задерживались, чтобы поприветствовать моего визави. Мири Аби был крупный мужчина, не очень стройный, не очень высокого роста, сложен как тяжеловес. В черном берете, вельветовых брюках и клетчатой сорочке навыпуск, он был похож на персонаж с Монмартра.

– В Союзе есть комната, где мы могли бы…?

– Только не здесь, – Мири Аби перебил меня, раздраженно спросил: – А вы видели хоть какие-то мои работы?

– Конечно, – сказала я, мысленно похвалив себя за то, что перед интервью полистала каталоги с репродукциями работ художника. Не могу сказать, что мне нравились его «Строители счастья», «На полях Азербайджана», «Огни Мингечаура», за что он получил звания Народного художника и академика. Но в них был масштаб и крепкая рука мастера.

– И что? Они вам нравятся?

– У вас разные работы…что-то нравится больше, что-то меньше…но, безусловно, лирическая тема…

– Вы можете назвать конкретную работу? – он бесцеремонно перебил меня.

«Вот зануда! Спроси еще, какие всесветные награды ты получил», – я включила чарующую улыбку №7.

– Ваши женщины очень хороши…

– Какие? – в голосе сквозила явная ирония. – хачмасские, ленкоранские, бенгальские, женщины Афганистана? – перечислял он свои знаменитые циклы и серии.

«С тебя довольно! Скажи ему до свидания и уходи, в редакции поймут», но вслух, не снимая с лица улыбки, сказала:

– «Лейла, расчесывающая волосы перед зеркалом»… в этой работе есть какая-то тайна… прикосновение к душе.

– Тайна? – Мири Аби изменился в лице. – А где вы видели эту работу?

– В каталоге, кажется, 1959 года.

Он замолчал, растерянно глядя вслед уезжающим сотоварищам. Фойе опустело и стихло.

– Может, мы все-таки присядем?

«Последняя попытка и уходим, ты сделала все, что могла».

– Хорошо, – хмуро вздохнул художник, всем своим видом показывая, что ничего хорошего от этого интервью он не ждет. – Хотите, пройдем в кафе, тут рядом, на бульваре, заодно выпьем кофе, – последняя фраза прозвучала почти приветливо, как неловкое извинение за грубость.

В «Лепесток» ходили люди, чтобы себя показать и на других посмотреть… Другие – это влиятельные отцы города, ученые, писатели, художники: ранним утром они бегали трусцой из конца в конец бульвара, а заканчивали бег здесь, чтобы выпить хорошего чая со специями и вареньем из белой черешни. И узнать самые свежие новости. Завсегдатаям кафе это общение дарило временное бессмертие, как колонка хроники в газете «Бакинский рабочий». Летом и осенью посетителей было так много, что столы выносили на террасу перед кафе. Они стояли в тени деревьев и сидеть здесь было приятно.

От кофе с шарлоткой художник слегка повеселел, а я судорожно искала свой первый вопрос, который снимет напряжение, возникшее между нами.

– Хорошее имя – Мири Аби. Это псевдоним?

– Фамилия моего отца – Абиев, я сократил ее почти вдвое. Мири – это полное имя.

– Можно было сократить его тоже. Ми Аби. Прекрасно звучит! Считается, что сложные, даже трагические жизни случаются у людей, чьи имена произносятся трудно. Мири Аби – коротко и ясно, и никаких трудных поворотов в жизни. Абсолютно светлая судьба. Да?

– Кто так считает?

– Мериме. Проспер Мериме, – но увидев, как нахмурился мой собеседник, я пошла на попятную, – это литературная традиция – словесный облик имени должен открывать судьбу носящего имя. Некоторые писатели долго выбирают имена своим героям. К вам это не относится.

– За вашей спиной через дорогу стоит дом, – задумчиво начал Мири Аби, – мы с вами прошли мимо него, когда шли сюда.

– Знаю этот дом, там был мой детский сад, – я подвинула диктофон ближе к своему собеседнику.

– Ненавижу эти подслушивающие устройства, – поморщился Аби.

– Ну и ладно…у меня хорошая память, – я торопливо убрала диктофон.

– В этом доме жил мой старший брат. Звали его Джошгун. Многие спотыкались об его имя, как только его ни называли: Дон, Джон, Шон, Жога, Джан, Джаник.

– А что означает Джошгун?

– Кипящий, бурлящий, и его судьбе это имя подошло как нельзя лучше, – сказал с горьким сарказмом. – Он был талантливым журналистом, как вы («Что ж ты так меня мучил?»), был редактором популярной тогда газеты «Гяндж ишчи» («Молодой труженик»). В 1936 году его осудили за «политическую близорукость» – была такая статья в уголовном кодексе, и сослали на север, в Котлас. Через три года он вернулся без права жить в Баку, поселился в Гяндже. Работал завлитом драмтеатра имени Берии. Перевел для гянджинской труппы «Разбойников» Шиллера. А в 1941-м ушел на фронт и пропал без вести.

– Ну и судьба…

Аби замолчал, как-то тяжело замолчал, надолго, и я испугалась, что он встанет и уйдет.

– Если хотите, поговорим о ваших картинах, – осторожно сказала я, но Аби меня не услышал.

– В 1950 году в составе делегации советских художников я приехал в Лейпциг на открытие советского павильона на «Старой ярмарке», – продолжил он свой рассказ. – Прекрасный павильон с 63-метровой башней, которую венчала пятиконечная звезда, копия кремлевской. Там экспонировались четыре мои картины. Торжественная премьера, много гостей, речи, здравицы. И вдруг в полутора метрах от себя я вижу Джошгуна. Он смотрит на меня и улыбается.

– Потрясающе!

– Что делать? Это был мой первый выезд за границу. Накануне нам приказали быть бдительными, особенно с перемещенными лицами, а с невозвращенцами категорически запрещалось вступать в контакт.

– Ситуация Штирлица с женой в кафе «Элефант»!

– Гораздо драматичнее: они знали о встрече, готовились к ней, а мы – нет! Я опустил глаза, а когда взглянул, Джошгуна уже не было.

– И вы побежали за ним?

– Нет…

– Почему?! – потрясенно спросила я и тут же осеклась: «Осторожно…ты не судья ему, мы им не судьи».

– Я увидел его в следующем зале, где висела моя картина «Портрет матери», нашей с ним матери. Он нежно гладил ее лицо. Немецкий гид сделала ему замечание, и Джошгун торопливо покинул зал.

– И вы не пошли за ним?

– Нет.

– И никогда об этом не пожалели?

– Нет. Не знаю..

– Почему вы мне рассказали о брате?

– Я рассказал о времени, – печально ответил Мири Аби. – Хотите еще кофе?

– Да, только со сливками…

Художник сделал новый заказ.

– Знаете, почему я согласился поговорить с вами? Я ведь давно уже не даю интервью.

– А почему не даете интервью?

– Устал не отвечать на вопрос журналистов: «Расскажите какой-нибудь смешной эпизод из вашей жизни».

– Ой, – рассмеялась я, – как раз мой редактор попросил задать вам такой вопрос.

Он тоже рассмеялся.

– Почему вы решили со мной поговорить? Вот уж час, как я бьюсь над этой загадкой.

– Вы единственная, кто обратил внимание на тайну Лейлы, расчесывающей волосы.

– Длинные, гладкие, черные волосы, как у восточной женщины, хранящей таинственные секреты. Она написана не кистью...

Мири Аби стал серьезным.

– Вы почти угадали, – усмехнулся невесело. – Расскажу, как она была написана, – сказал решительно, словно прыгнул в бездну без парашюта, – я никому этого не рассказывал… никогда.

– Это был 1953 год. Март. Мастерская, – начал он, – первая моя мастерская. Звонок из ЦК компартии Азербайджана: «Товарищ Абиев, возьмите небольшой этюдник, который можно повесить на шею, и срочно в аэропорт. Вы летите в Москву». Я стал собираться.

– И не спросили, зачем, что за причина, на какой срок?

– В те времена людям из ЦК не задавали лишних вопросов. В Шереметьево прилетел за полночь. Меня встретили молча. Молча отвезли в Большой зал Московской консерватории. Мне едва исполнилось 30 лет, и у меня голова пошла кругом от такого общества. Здесь на каждый квадратный метр площади было столько талантов, силы, энергии, амбиций, что воздух клубился от тщеславия. И дух захватывало. Положив под голову пиджак, нахлобучив на лицо шляпу, спал монументалист Иогансон. Знаменитый Соколов-Скаля позировал не менее знаменитому Лактионову. Томский сражался в шахматы с Кибриком. За их игрой наблюдали лауреаты Сталинской премии, Герои Социалистического Труда, Народные художники: Корецкий, Климашин, Джапаридзе, Налбандян – весь цвет советской художественной элиты. Никто не разговаривал, изредка звучали реплики о каком-то особом задании. В воздухе витала тревога.

– Как вы оказались в такой звездной компании корифеев?

– Не знаю… Может, жена Ворошилова посодействовала, она была директором музея, где среди дипломных работ выпускников Суриковской академии висела и моя работа, она ее очень хвалила. А может, это рекомендация самого президента АХ СССР Герасимова. В 1943 году, по пути на Тегеранскую конференцию, он заезжал в Баку и посещал выставку, где экспонировалось моё «Заседание военсовета» с фигурой Сталина в необычном освещении. Он тогда не поверил, что юноша мог добиться такого «мужского освещения», «рембрандтовского освещения»….

Всю ночь я не спал от холода и беспокойства. На рассвете нас молча вывели на площадь Маяковского. В автобусе уже сидели музыканты Государственного оркестра, и мы поехали в Колонный зал Дома Советов. Помню, как оцепенел я на пороге зала. Первое, что увидел в полумраке, – сцену, гроб, а в нем – генералиссимус Иосиф Сталин.

Нам объяснили суть исторического поручения. Политбюро постановило создать серию полотен «Прощание с вождем». Для истории. А пока мы должны были сделать зарисовки с натуры. Сталин в гробу, прощальная церемония, плач народа. Знаете, меня потрясла мертвая голова Сталина на розовой подушке. Величественное в смерти лицо вождя и обыденные невыразительные лица соратников, мельтешащих вокруг…Маленков, Булганин, Берия, Хрущев, Микоян суетились, что-то репетировали, определяли ранжир: кому за кем, с какой стороны подходить и стоять у гроба.

Я работал увлеченно, но, конечно, что-то замечал: как Томский снимал посмертную маску, Иогансон делал наброски соратников, Налбандян мелькал с фотоаппаратом. Иногда подходил Хрущев, подбадривал, подсматривал, подсказывал…

Позже я увидел хронику похорон Сталина, людской поток, сметающий кордоны, люди давили друг друга, бежали по трупам. Страна в истерике провожала вождя. Но в Колонном зале было тихо, благоговейно…

На следующее утро нас повезли на ближнюю дачу, где умер Сталин. Нашим гидом был грузин, старый повар вождя. Он рассказал, что прежде чем Хозяин принимался за еду, он, повар, пробовал все блюда у него на глазах. Потом показал кушетку, на которой Хозяин умер: низкая кушетка с заборчиками вокруг ножек, чтобы под ней нельзя было спрятаться. Сталин тоже боялся.

Через какое-то время я сообщил в ЦК, что эскиз «Прощания» готов, могу выехать в Москву для его утверждения, чтобы начать работу. Сроки поджимали. Через день звонок, но не из ЦК, а из редакции главной газеты республики на русском языке «Бакинский рабочий». Сам всесильный редактор Малютин приглашает меня на чай.

– Над чем работаете? – спросил.

Я рассказал. Малютин поморщился. «Он что, Сталина не уважает?!»

– Вы читали сегодняшнюю «Правду»? – спросил редактор.

– Нет.

– Обязательно почитайте, – посоветовал он, провожая меня до двери.

Странное чаепитие, странный разговор – встревоженный, я пошел покупать «Правду».

«С кончиной Сталина заканчивается эпоха Сталина» – резанул глаза заголовок статьи президента США Дуайта Эйзенхауэра. Так вот оно что! Малютин выполнял деликатное поручение партии, это сигнал о прекращении работы.

– А советские художники хорошо понимали эзоповский язык?

– Да уж! Весь день я не находил себе места, ходил из угла в угол мастерской. Стемнело, я опустил шторы. Мрачный лик вождя заполнил все пространство. Я зажег свет. Дерзкая решительность овладела мной: сознание, что теперь я все могу, все смею, и больше никого не надо бояться… Как в лихорадке, я схватил кисть и прямо поверх траурного сюжета стал писать портрет своей жены. Писал всю ночь, а когда закончил, стало так грустно, я был опустошенным, как будто что-то во мне умирало…

– Это сильное переживание.

– …но зато с политикой я завязал навсегда. Никаких политических заказов! «…Жизни путь пройдя до половины», я понял, что только к ней готовился, и не совсем так, как надо.

– И написали чудесный портрет.

– Он до сих пор висит в нашей спальне. Лейла расчесывает волосы, а под ней невидимый Сталин в гробу…

– А что стало с другими эскизами, теми, что с натуры?

Он вдруг засмеялся.

– Другие наброски тоже пустил в дело, один только – «голова Сталина» – остался, затерялся между холстами…

Где-то в начале 90-х годов ко мне в мастерскую напросился английский журналист Мэтью. Смотрел мои картины, восхищался, а уходя, попросил на память «Голову»: «На что она вам, все равно пылится», – сказал он и оставил на мольберте стодолларовую купюру.

Но вот что удивительно: когда Мэтью уносил эскиз, мне показалось, что Сталин с подушки мне подмигнул… Мистика. Что бы это значило, – подумал я.

А вскоре мне рассказали, что «Голова на розовой подушке» была продана с аукциона Сотбис за 60 тысяч долларов, ее приобрел какой-то американец, коллекционер всего, что имеет отношение к Сталину, моя зарисовка со смертного одра стала уникальным экспонатом его коллекции. Я очень расстроился, при встрече с английским послом в Баку рассказал ему эту историю. Увы! Сотбис – частная структура, а дипломаты Ее Высочества не занимаются частными делами…

С Мири Аби мы расставались друзьями. На прощанье он мне сказал:

– Скажите редактору, что мертвая «Голова на розовой подушке» – самая смешная история в моей жизни».

Четыреста синонимов беды

Эмин лежал на старом проваленном диване, разглядывая трещины на потолке. Вставать в такую рань не хотелось. За тонкой стеной приглушенно ссорились родители.

– Ты на календарь смотришь? Осталось две недели до начала занятий, – это мама и раздраженный голос отца:

– А что я могу сделать? Тарлан обещал предложить натюрморты кафе «Зогал», сегодня отнесу.

Эмин наизусть знал эти утренние диалоги. Сейчас мама скажет, что не позволит и дальше морочить ей голову: то он отнес картины, то собирается, то хозяин в командировке, то скончался. И нечего кивать на кризис в культуре. Вон Халык, папин коллега, устроил персональную выставку, продал картины, купил джип, потому что не ждет у моря погоды, не ждет, когда кто-то к нему постучится, а сам стучится во все двери. Волка ноги кормят. Папа возразит, что он – не волк, а художник. Мама напомнит, что он еще и отец, который обязан дать сыну нормальное образование. И если до конца месяца он не достанет эти несчастные пятьсот долларов на плату за семестр, она будет вынуждена пойти на крайний шаг. Эмин знал, какой: сдать папину мастерскую в аренду, под магазин.

– Никогда! – вдруг рассердился отец и сказал нечто такое, от чего Эмин скатился с дивана. – Хочет учиться, пусть зарабатывает сам. Я умываю руки, я банкрот, у меня нет денег. Кстати, никакие картины Халык не продает. Это блеф, джип и выставки финансирует его сын Маис. Между прочим, ровесник Эмина.

Ничего страшного, почти ничего, успокаивал себя Эмин, но слова отца задели его самолюбие. Надо принять душ, одеться и выйти из дома. Вот что надо сделать. Родители не знают, что все каникулы он проводит не на пляже, а подрабатывает, где придется. Хотел сделать им сюрприз, собрал восемьдесят два доллара, осталось – четыреста восемнадцать.

– Сынуля, ты проснулся? – ласковый голос матери застал его в передней. Он выскользнул на лестничную площадку, аккуратно прикрыв дверь.

С чего начать? На прошлой неделе Эмин оставил свой application в Торговой палате (он разослал их по 20 адресам). Возможно, что хмурый менеджер обрадуется его приходу, как раз ждет его, чтобы послать в Загульбу на международный семинар. Требуется перевод с английского. Три дня по 30 долларов. Но, увы! Менеджер мрачно сообщил, что никаких заявок на сегодня нет и до конца месяца не будет.

У входа в офис «Красного Креста» толпились ребята.

– Здесь без связей не пробьешься.

– Никаких вакансий до конца года не будет, какие-то проблемы с поставками гуманитарной помощи.

– «Евразия» набирает переводчиков с французского.

– Я оттуда, они набрали.

– Опять день пропал, – Эмин решил попытать счастья на бирже труда.

До перекрестка Низами-Пушкинская, где обосновалась уличная биржа, он добрался минут за двадцать. Тоже толпа и такое же нервное ожидание. Солнце загнало людей под маркизы, деревья и подворотни, но как только на горизонте появлялся некто, похожий на клиента, с криками и табличками: «Мастер на все руки», «Слесарь восьмого разряда», «Укладка кафеля по разумной цене» они кидались ему наперерез. Спрос явно не превышал предложение. Эмин пристроился к группе плотников.

Мимо проехала красавица Ferrari Enzo, неожиданно резко затормозив, вернулась на угол. Соискатели заволновались, облепили машину, а она, рассекая толпу, рулила к Эмину. «Опять студента берут». «Везет же парню».

Владелец Ferrari, худой, бледный молодой человек с темными волосами и надменным взглядом ловким, изящным движением распахнул дверцу: «Садись».

– Будь осторожней, мальчик, – шепнул Эмину старый плотник, – сейчас много пакостников кругом.

Машина с Пушкинской свернула на широкий проспект Гаджибекова, водитель прибавил скорость, но на повороте к морю машина замерла в автомобильном потоке.

– А ведь ты тот самый Эмин Гуламов.

– Что значит, тот самый?

– Ну, тот, что сам поступил на международное право. Круглый отличник, сам одолел английский, французский, испанский, читает Коран на арабском. Знает пять тысяч семьсот сорок семь синонимов слова «верблюд», и я забыл, сколько-то – «беды»…

– Четыреста, – рассмеялся Эмин.

– Четыреста синонимов беды – уже беда! Мои старики все уши прожужжали, какой ты продвинутый.

– А ты тот самый Маис Халык, который устроил отцу выставку и подарил джип, я не сразу тебя узнал.

– Старик этим хвастает? – удивился Маис. – Вот дурак. А что ты со своими талантами делаешь на невольничьем рынке?

– Зарабатываю на учебу.

Трасса ожила, машина свернула на проспект Нефтяников. Маис поставил диск, салон заполнили тягучие ритмы Rosas Cantina Deep Purple.

– Нравится?

– Мрачновато для солнечного дня.

– Переведи, что они поют…вот это место.

– «Некоторые называют это самоубийством, я бы назвал это – рай…»

Перед Баиловским подъемом у фонтана «Бахрам Гур» снова попали в пробку… Зазвонил мобильный. Маис взорвался:

– Слушай, отстань, а? Нет, не надо, и приходить не надо. Мне ничего не нужно. А ты – в последнюю очередь, – закончил фразу соленым матерным словом. После паузы задумчиво спросил: – Скольких телок ты уже трахнул?

Смутившись, Эмин пробормотал что-то невнятное.

– А я неутомимый! – Маис произнес это сокрушительно, закончив фразу тем же соленым словом.

– Чем ты занимаешься? Где работаешь? – Эмин аккуратно перевел скользкий разговор на другую тему.

Брызнул дождь. Маис опустил стекла машины.

– Глобальный вопрос. Я профессиональный крупье. Немного игрок. Пожалуй, еще сутенер: я беру деньги с проституток, если устраиваю ангажемент. Немного вор, изредка гуляю по карманам пьяных клиентов. Да, еще женщины – меня очень и очень любят замужние дамы, – объяснил он с простодушием девушки, которой выпала удача родиться красивой.

Эмин не знал, как реагировать. В его жизни не было человека, который с такой откровенностью выставлял свои пороки. Его спросили. Он ответил. Коротко и ясно. Без размышлений и уловок. Кто этот тип? Кретин, позер, циник, герой нового времени?

– Ах, какой я безнравственный! Да? – рассмеялся Маис, заметив растерянность собеседника. – Ну, что есть, – я никогда не лицемерю.

– Тебе бы жить в средние века…тогда не знали нашего лицемерия. Грешников не стыдились. Просто ставили на колени и поднимали глаза к небу…

Трасса позволяла разогнаться, и Маис включил самую высокую скорость, но машина не раскачивалась, двигалась плавно и уверенно, и в салоне витал приятный ветерок, напоенный запахом моря.

– Мне подошло бы другое время, – с тоской вздохнул он, – ты знаешь, что Заратустра жил в Баку?

– Почему ты вспомнил Заратустру?

– На прошлой неделе я возил московских гостей в Атешгях, какое-то время Заратустра жил в этом храме огнепоклонников.

– Одна из версий, – усмехнулся Эмин.

– Вот было время. Все ясно. Ни безработицы, ни казино, ни сутенеров, ни газопроводов. Природа и человек. У каждого свой путь, своя забота. Пастухи кормили народ, воины – защищали. Им было совершенно наплевать на мир, на образование, вернисажи, премии Нобеля. Им было важно знать, кто враг и кто друг. Где добро, где зло. Всего три молитвы в день Солнцу. Восход. Полдень. Закат. И райская жизнь на том свете!

– И семьдесят две прекрасные девы в награду!

Они рассмеялись.

– Я был бы хорошим огнепоклонником, – размечтался Маис.

– У них символов больше, чем синонимов у арабов, – сказал Эмин, – и все – за семью печатями.

Машина свернула с трассы на узкую улочку, ведущую к морю. Затормозив у решетчатых ворот и сунув купюру строгому охраннику, Маис въехал в прекрасный, ухоженный сад, в конце которого в тени деревьев прятался двухэтажный дом.

– Выходи, – сказал он, внезапно изменившись в лице.

В конце аллеи их ждал некто в белом халате, с голосом, на две октавы ниже человеческого. Эмин понял, что это врач, что он уклончив, прячет глаза, что какой-то важный анализ пока не готов, нет нужных реактивов, но в любом случае надо начинать принимать препарат, который стоит кучу денег и творит чудеса.

– Медицина не стоит на месте, надо только набраться мужества и терпения, – проворным движением фокусника он выдернул из рук Маиса конверт с деньгами, который моментально переселился в обширный карман его халата, и, ободряюще помахав посетителям, пообещав позвонить «как только, так сразу», исчез так же внезапно, как появился.

– Не ожидал? Хороший ты человек, – разглядев ужас на лице Эмина, усмехнулся Маис.

– Где ты выкопал врача с таким голосом?

– О СПИДе нельзя говорить нежно, – Маис присел на скамейку, – знаешь, по дороге сюда я чуть в штаны не наложил от страха…потому и тебя прихватил. Теперь отпустило: чему быть, того не миновать. Рановато, конечно… – и, помолчав: – Какой из четырехсот синонимов беды подходит к моей ситуации?

– Поражение…испытание.

Маис вытащил тридцать долларов из заднего кармана брюк.

– Твой гонорар за потраченное время.

– Забудь, этих денег все равно не хватит, у меня поменялись планы.

– Неужели оставишь университет?

– Хочешь, я поведу машину? – предложил Эмин. – Поедем на берег, в Амбуране расслабимся.

– Ты почитаешь мне Коран на арабском?

– Неплохая идея, если ты нарисуешь тайные символы Зоро.

На следующее утро посыльный принес Эмину конверт: в нем было пятьсот долларов и записка: «Отдашь с первого контракта. Я дождусь. Маис».

Скелет в шкафу

Из цикла «Тайны нашего двора»

Когда мадам Азурова объявила, что поставит зарвавшуюся Соньку на место, все ей сказали, что она сделает большую глупость, ведь известно было, что с Сонькой связываться опасно. Даже знаменитая певица Фатьма Мухтарова, человек смелый и независимый, сочла своим долгом предупредить мадам.

– Уступите, я знаю таких героинь, не нашедших нити в жизни, израненных, но презревших мораль. Мятежные изгои.

– Вы говорите о театре, – возразила мадам, – а я – о нашей жизни, которую эта особа делает невыносимой.

– Не боитесь напороться на скелет в шкафу?

– Не боюсь, – уверенно ответила она, – у меня безупречная репутация, я вся на виду.

– Не знаю, – усмехнулась певица, – иногда мне кажется, что новая соседка знает о нас то, чего мы и сами о себе не знаем.

Разговор проходил на кухне моей подружки Зары Велиевой, где собрались соседи. Взрослые пили чай, а мы подслушивали в приоткрытую дверь.

– В каждом доме есть свой шкаф со скелетом, – мрачным тоном сказал дядя Давуд, отец Зары, и моя трусливая мама, вероятно, вспомнив о своих грехах, заволновалась.

– Лучше я буду ходить за водой в соседний двор, потому как все Сонькины номера плохо заканчиваются.

Мы жили на Набережной в трехэтажном доме, бывшем караван-сарае с характерными арками-балконами и тесно прижатыми квартирами. Двор, как единая семья, жил открыто и ладно: общие радости, общие разборки, общий грипп. В праздничные вечера дворничиха Шура начисто выметала двор, мальчики расставляли столы и стулья, девочки раскладывали бутерброды с «Отдельной» колбасой, пирожки с капустой, домашние соленья. Шепелевы заводили патефон, и наши мамы под «Брызги шампанского» танцевали танго. Именитые врачи и актеры, маникюрши и капитаны, бухгалтеры, педагоги, портнихи; азербайджанцы, русские, евреи, армяне, татары – все жили в согласии и терпимости, несмотря на один туалет и один кран на весь первый этаж. Этот кран и стал поводом для раздора между двором и новой соседкой.

По давней негласной традиции краном пользовались только для сбора воды. Пришел, набрал ведро, ушел. Новую соседку Соньку наши правила не устроили. Под общим краном она полоскала белье, мыла ноги, фыркала, харкала, сморкалась, чистила зубы и кастрюли, образуя вокруг грязные лужи, озерца и очередь. «Вы создаете антисанитарную среду, – сделала ей замечание директриса школы Елизавета Адамовна Жданович, чья квартира находилась напротив крана, – а здесь играют дети, и это может быть опасно». «Но не так опасно, как ты сама, жаба жандармская».

Дворничиха Шура рассказывала, что несчастная Жданович аж пошатнулась, словно ее ударили. А через неделю двор узнал, что она освобождена от занимаемой должности «за сокрытие сведений, порочащих светлый образ советского педагога». Оказалось, что до революции её дед Адам Жданович служил жандармом в Кубинском уезде.

Этот кран был пунктиком Соньки. Она билась за него нелепо, суматошно, зло, настраивая против себя всех. Стоило кому-то поторопить ее, она словно теряла рассудок: бормотала что-то невнятное, пускала колкости, и вдруг – удар! Вспышка. Оппонент разоблачен, пристыжен и сражен. Илаха со второго этажа торгует на Кубинке конфетами, которые в трусах уносит с кондитерской фабрики. Дядя Надир – импотент войны. Признанная старая дева двора – старая, но вовсе не дева, и т.д.

В то утро, так и хочется сказать, роковое, Сонька заняла кран очень рано. Было воскресение – день уборки. Хозяйки нервничали, мужчины бросали на Соньку сердитые взгляды. Никакой реакции. И тогда вперед вышла респектабельная Изабелла

Азурова, бывший юрист, дама приятная и безупречная во всех отношениях. В ультимативной форме она потребовала уважения. Либо Сонька подчинится законам двора, либо по коллективной жалобе схлопочет психбольницу. Сонька выбрала третий путь. Легким движением руки откинув со лба светлые волосы, она выпрямилась. Она расхохоталась, расширив полыхающие глаза сиамской кошки.

– А я уже состою на учете в психбольнице, – сказала она, – и у меня есть справка, разрешающая мне плескаться под общественным краном. А у тебя?!

Как хорошая актриса, она выдержала паузу, и весь воскресный двор замер в ожидании сенсации.

– У тебя, мадам, есть справка из венерической больницы о том, что ты здорова? Никаких рецидивов после сифилиса, которым в молодости наградил тебя муж, не предвидится?

Мгновенье, и Сонька вцепилась в волосы мадам, которые легко отделились от ее головы. И весь двор увидел голый череп Изабеллы Азуровой с трогательным пушком на затылке. Мы, дети, ахнули. С одной стороны, это было ужасно. С другой, – ужасно интересно. Сонька швырнула парик на середину двора.

– Мадам Лысая! – она с презрением плюнула вслед убегающей Изабелле Азуровой.

– Послушай, ты, праведница, – вдруг прогремел голос соседа со второго этажа, известного советского тренера по легкой атлетике Шепелева. – У нас не заведено издеваться над людьми. Пусть кто-то лысая, пусть жандармская внучка, пусть украла, продала, обманула, пусть кто-то перепил или «переспал» с кем попало. Это значит, что здесь живут нормальные люди. И я требую, чтобы ты относилась ко всем уважительно.

Двор шумно поддержал мастера спорта, с удивлением услышав от него такую длинную речь.

– Я не праведница, – усмехнулась Сонька, – я ночная бабочка, но не тебе меня воспитывать. Ты, чемпион, лучше займись своей дочкой Нинкой, она каждую ночь бегает…

Куда бегает каждую ночь Нинка мы, к сожалению, не узнали.

– Сонечка, милая, это нечестно, – громко расплакалась дочка тренера, – тебя обидел папа, про него и рассказывай. А я тут при чем?

Обескураженный защитник мадам замахнулся на Нинку, но та, увернувшись, заперлась в кладовке. Шепелевы – отец, мама, дочь и сын – кричали друг на друга несколько часов подряд.

А вечером Сонька приволокла во двор облезлую хромую кошку с тремя котятами. «Жаба, сейчас же положи детей в коробку!» «Чемпион, ты ничего не поел, так до финиша не потянешь». «Кис-кис, Лысая, котлетку хочешь?» Два дня прототипы кошачьего семейства вздрагивали, когда Сонька озвучивала клички, но, понимая, что их намеренно провоцируют, хранили молчание. Родители загоняли нас в квартиры, но мы вырывались, боясь пропустить развязку. Она наступила очень скоро.

Один котенок вскарабкался на лестницу. «Чемпион, ты куда?» – увидев спускающегося тренера, фамильярно крикнула Сонька. И Шепелев не выдержал. Схватив несчастное животное, он с силой грохнул его о перила. Кровь брызнула во все стороны, Сонька истерически закричала и, сгорбившись, как слепая, опустилась на газон под кустом олеандра. Она сидела, сжимая голову, видно, она у нее сильно болела. Сидела очень долго. Было ужасно жалко её, несчастную.

И мы с Зарой, когда стемнело, понесли ей кружку воды и бублик. А она расплакалась. Вот и пойми взрослых.

– Вы очень хорошие девочки, – Сонька ласково погладила меня по лицу, а Зару порывисто прижала к груди.

– Тетя Сонечка, – сказала вдруг Зара, – если вы что-то знаете про моих родителей, не рассказывайте вслух, пожалуйста.

– Почему ты об этом просишь? – подозрительно прищурилась Сонька. – Они говорили обо мне?

– Нет, не говорили, но мама по ночам не спит, чего-то боится. Папа говорит: «Давай уедем в Москву», его приглашают художником в детский театр, а она говорит: «От судьбы не уедешь».

С тех пор новая соседка жила, как сказала моя мама, тише воды, ниже травы. И к крану подходила редко и только чтобы набрать воды, и котят своих называла просто кисами.

Однажды, лет двадцать спустя, узнаю, что у Зары Велиевой нервный срыв, она лежит в психиатрической больнице. Мы уже давно не общались, я вышла замуж, переехала в другой район города. Зара окончила хореографическое училище, танцевала в театре, ее имя уже мелькало на афишах. Она тоже вышла замуж, родила сына. И вот мчусь в больницу…

Мы встретились в галерее для посетителей. Зара была тиха и очень красива.

– Что случилось, родная?

– Долго рассказывать.

– Я никуда не тороплюсь. Расскажи, если хочешь, конечно.

В галерее появилась опрятная старушка с пакетами, неуверенно подошла к нам.

– Ну, давай, – с неожиданной злостью сказала Зара, вырвав пакеты, – и сразу же вон! Видишь, у меня гостья.

Наступила неловкая пауза, однако старушка не обиделась, пятясь к двери, она продолжала мягко улыбаться. Что-то знакомое мелькнуло в ее улыбке, но нет, этого не может быть.

– Может, – прочла мои мысли Зара. – Это проклятая Сонька. Знаешь, кто она? Иисусе! Она моя родная мать… Представляешь?! – подруга замолчала.

Представить это было сложно, и я ничего не сказала.

– С детства я ощущала с ней какую-то связь, – Зара невесело улыбнулась. – Она, как летучая мышь, всю жизнь маячила над головой: то на школьном празднике мелькнет, то на премьерном спектакле вылезет на сцену с корзиной цветов, даже на мою свадьбу умудрилась устроиться официанткой… А когда родился мой первенец, она обменяла квартиру и переехала в дом, где я жила с мужем. Ну, и призналась, что оставила меня в подворотне… рядом с мусорными ящиками…

Зара раскручивала свою жизнь, приводила факты и случаи, чуть захлебываясь, говорила слова, иногда бессвязные… Но глаза, руки, голос, дыхание… Именно эта конкретность, реальная и трагическая, захватывала и поражала. Здесь были и уязвленное самолюбие: «Подумать только, я дочь Соньки ненормальной». И жалость к этой Кабирии. И страх повторить ее судьбу, генетика ведь работает. И злость на родителей: «Не смогли защитить нашу тайну». И обида на жизнь, которой она надорвалась.

– Ирония судьбы! Папа умер, мама тяжко болеет, муж завел другую семью, сына отняла свекровь, друзья исчезли, поклонники испарились. Осталась только Сонька. Наконец-то я в полном ее распоряжении, – Зара неестественно громко рассмеялась, и в дверях мелькнуло встревоженное лицо бывшей мятежной соседки.

– Соня не ушла? – удивилась я.

– Она уйдет после отбоя, – в голосе Зары прозвучала неожиданная нежность, – и придет утром, до обхода врачей.

Пиковая дама

Если правда, что дух покойного витает на собственных похоронах, то в момент, когда появилась новая гостья, тот, кто лежал в гробу, должно быть, весело ей подмигнул. У нее было бледное лицо, испещренное причудливыми морщинами, трясущаяся голова с каким-то немыслимо закрученным тюрбаном, черное шелковое платье в пол. Еле удерживая на ногах лодочки, дама величественно входила в комнату, опираясь на руку хрупкой девочки. Все расступились, освобождая ей место в изголовье гроба. «Мадам Лоран», – прошелестело по всем комнатам.

Кто? Не может быть! Значит, она в самом деле существовала, эта знаменитая мадам Лоран?! Мы были уверены, что это выдуманный персонаж из Кешиных побасенок. Значит, прав был покойный, когда говорил, что прячет свои тайны у всех на глазах, потому что это лучший способ скрыть секрет. Выходит, что все, о чем он рассказывал, было правдой, и мадам Лоран, его соседка по квартире, вовсе не виртуальный образ? Она жила все эти годы рядом? В это трудно было поверить.

– Сколько же ей лет?

– Под сто, наверное…

– Больше…

…Этот Кеша Калабеев (никто не знал его полного имени) был странный парень. Доверчивый, открытый, толковый, а то дурашливо-простоватый с большим перевесом «себе на уме». Он жил весело, азартно, на грани фола, избрав шутовство формой поведения. Какая-то изначальная строптивость – может, оттого, что рос в очень бедной семье, как трава во дворе, – мешала ему оставаться в рамках «нормального процесса», как говорил о нем наш председатель. Он торопился жить, ускорял события, изобретал экстравагантные обходные пути, преодолевал немыслимые проблемы, которые сам и создавал.

Он перемешивал реальность и вымысел так, что никогда нельзя было понять, когда он говорил правду, а когда сочинял свои замысловатые фаблио. Накануне выпускного экзамена он нанял хулиганов, которые инсценировали нападение на педагога по диамату. И храбрый Кеша, который «случайно оказался рядом», вступил в бой один против семерых.

Однажды мать послала его в аптеку за лекарством, а через три часа он сообщил, что приземлился в Киеве. Его прихватили с собой знакомые спортсмены, которые летели на футбольный матч «Динамо» – «Нефтчи». Он дезертировал из армии, устроив себе «маленькую язву». В обмен на модный плащ «болонья» цвета маренго отсидел в милицейском участке пятнадцать суток, взяв на себя чужую вину.

А это уж совсем прикольная история. Он угнал «ГАЗ-31», вступил в сложные переговоры с владельцем машины, отцом девушки, на которой мечтал жениться.

– Тебе что, жить надоело? Ты хоть знаешь, кто ее отец?

– Главный мясник на Тезе-базаре.

– Не боишься под топор попасть?

– А удовольствие-е-е? – Кеша смешно растягивал до ушей лукавую улыбку. – К тому же он согласился взять меня в мужья дочери. Приходите на свадьбу!

Кеша умел развлечь публику, вокруг него всегда царил озорной, веселый мир, где все необычно, случайно, круто, наобум. Шальной романтик, таких любят женщины. У него были разнообразные вариации отношений с ними: недоступные красавицы, чужие жены, любовницы любимые и не очень, одноразовые курочки, просто подружки. И всех он пригласил на свадьбу.

Что наша жизнь? Игра! Весь мир – театр! А люди в нем актеры: кто плут, кто шут, а кто простак! И Кеша развлекался по полной программе.

Но бывало, правда, очень редко, когда маска весельчака и остроумца соскальзывала с лица, и в его глазах появлялась тревога. Дело шло к тридцати трем годам. Он приятельствовал с половиной города, вокруг него толпилось много успешных ровесников. Но сам он оставался никем. Посол по «особым» поручениям. Старший помощник младшего ассистента звукорежиссера студии, мальчик на побегушках.

– Ненавижу тебя, жалкое, никчемное посмешище! – сказала однажды жена, и ее отец-мясник с радостью выставил его за дверь.

Кеша тяжело переживал разрыв с семьей – запил, замкнулся, затосковал, перестал общаться с друзьями, да и они не искали с ним встреч. Оказалось, что и друзьям он не был нужен без денег, без квартиры, без веселого настроения. Словом, сломался Кеша.

И вот тут на студии появилась Ума Нуриева. Тихая, бесцветная библиотекарша. Добрая душа и умница, она терпеливо выслушивала Кешины жалобы на жизнь, помогала в работе, подбирала нотный материал для его программ, оставляла редкие детективы, поила душистым чаем, в общем, утешала, как могла. Ее скорбные глаза, всегда прикованные к Кеше, упорное и неотступное обожание, смирение, взывающее к чувству, раздражали его. Но и отказаться от внимания Умы он не мог.

– Что-то есть? Мы ничего не пропустили? – шутили коллеги, встречая его в библиотеке.

– Да, есть, что пожевать и что попить, – отмахивался Кеша.

– Ты зря теряешь время, эта героиня не твоих романов.

…Ума с мамой жили в центре города, на Набережной, в прекрасной квартире со всеми удобствами, правда, в уплотнении с одной соседкой. Мадам Фани Лоран, одинокой пенсионерке, было чуть больше семидесяти лет, когда она неожиданно заболела. В случае ее смерти, в которой не сомневались врачи, две ее комнаты по советским законам переходили в ведение райисполкома. Но если бы Ума была замужем, вся квартира досталась бы ее семье. Как потом убеждал нас Кеша, у него не было никакого расчета, просто хотел помочь хорошим людям. И Ума говорила, что хотела помочь Кеше заиметь собственную жилплощадь, когда предложила ему фиктивный брак.

– Мы поженимся на бумаге, а жить будем как соседи. Лучше ты, чем кто-то неизвестный, а то из райисполкома уже приходили очередники смотреть квартиру, те ещё типажи.

На том и порешили, но на всякий случай Кеша отправился в больницу, чтобы посмотреть на больную.

…Мадам Лоран лежала неподвижно, с закрытыми глазами. Посеревшее лицо искажала страдальческая гримаса, на нем блестели капельки пота.

– Старуха очень плоха, не узнает близких, – объяснила знакомая медсестра, которая провела Кешу с Умой в палату.

– Анри, – застонала больная, – с трудом приподнимая веки, – Анри…

– Это ее жених, – улыбнулась Ума, – она сбежала от него прямо из-под венца, влюбилась в богатого бакинца. Дом, в котором мы живем, до конфискации советской властью принадлежал ему.

– Ничего себе! Она француженка?

– Из Лиможа, и из хорошей семьи. Ее отец был владельцем фабрики знаменитого лиможского фарфора.

– Анри… – старуха беспокойно бормотала что-то невнятное, пытаясь сбросить с себя одеяло.

– Да-да, – ласково подмигнул ей Кеша, – дорогая, Анри за тобой пришел... Куда пойдем? К Наполеону Бонапарту, – он поправил сползающее покрывало, – под веселый марш Шопена.

Медсестра и Ума прыснули от смеха.

– Дни её сочтены, – подтвердил лечащий врач, – запущенная грудная «жаба» на фоне диабета и почечной недостаточности не оставляет никакой надежды на выздоровление.

И в ЖКХ жениха уверили, что в случае замужества Умы до кончины соседки вся квартира переходит семье Нуриевых.

Молодые почти бегом отправились в ЗАГС. Взятка и знакомство сократили срок регистрации до минимума. После церемонии мнимые «молодожены» поехали к Уме отметить удачную сделку. На пороге их ждал сюрприз. Большой сюрприз. Грандиозный.

Мадам Лоран собственной персоной. Бледная, худая, величавая как перст судьбы. С букетом роз и ценным подарком для новобрачных. Фамильный сервиз с вензелем Limoges Martial Redon. Special. И картинки с изображением великих наполеоновских битв на всех предметах знаменитой фарфоровой посуды.

– Не помню, что со мной стряслось, когда я увидел на пузатом чайнике треуголку Наполеона, гарцующего на белом коне… то ли завыл, то ли запел, – рассказывал потом Кеша, – меня долго не могли успокоить. А эта Пиковая дама вдруг открыла рот в широкой улыбке.

– Мой муж тоже так смеялся на нашей свадьбе.

У Кеши началась истерика, пришлось вызывать «Скорую». Только затравленные глаза несчастной Умы, готовой от стыда провалиться сквозь землю, привели его в чувство. Выпив с горя бутылку крепкой перцовки, он остался у Нуриевых.

– А, как известно, когда ложатся двое, встают трое, – весело заканчивал свой рассказ Кеша.

Конечно, в эту побасенку никто из нас не верил, потому что брак с Умой оказался долгим, тихим и счастливым.

И все же… Мадам Фани Лоран у гроба Кеши Калабеева! Есть в этом что-то от лукавого. А может, от веселого Бога? Ведь говорят же, что человек предполагает, а Бог располагает.

Весна под запретом

Из цикла «Тайны нашего двора»

… выхожу во двор: на всех окнах крест-накрест полоски – знаки военного времени. Темно и страшно, но у меня важное дело. Неделю назад тетя Сара, мама моей подружки, сказала, понизив голос, что скоро придет великий праздник, почему о нем нельзя говорить, особенно, в школе, она не объяснила. Но встречать его надо обязательно, сказала она. Как? Надеть светлые одежды. Думать только о светлом. А потом положить на любой порог дома свою шапку. И если ты хорошая девочка, твой ангел наполнит ее подарками.

Я надела бархатное платье с белым кружевным воротничком и, затаив дыхание, положила свою шапочку с помпоном под дверь Ждановичей, постучав в дверь, спряталась под аркой и приготовилась увидеть ангела за работой.

…Вот пишу сейчас и слышу, как весело бьется мое сердце, прямо выскакивает из груди. Вместо ангела появился хозяйка:

– Что за хулиганство? – строго бросила она в темноту.

– Здесь детская шапочка, – объявил старческий голос ее отца, – надо бы положить подарок. Сегодня же праздник.

– Мы не будем поощрять антисоветчину! – откинув ногой мой помпон, хлопнула дверью.

«Наверное, я не очень хорошая девочка», – всхлипывала я, пытаясь отыскать шапочку.

– Вот она, в лужу попала, – из темноты вынырнула дворовая сумашедщая Сонька, – ты неудачно выбрала дверь. Шапочку положи на порог Фатьмы Мухтаровой, она добрая, и у нее сегодня халва с толченой корицей и трубочки с бадамом, – Сонька мечтательно потянула носом, – чувствуешь запах? – но, услышав шаги на лестнице, исчезла, словно испарилась.

Это была моя подруга Фарида.

– Наденька, а я за тобой. Сейчас начнется, – она перешла на шепот.

В квартире Мамедовых горели свечи. На столе возвышалось зеленое семени, а вокруг – семь видов восточных вкусностей, источающих волшебные ароматы.

– А Жданович говорит, что это антисоветский праздник.

– Весна не может быть антисоветской, – сказал папа Фариды.

Потом мы ели плов с цыплятами, пили чай с золотистой пахлавой, которую испекла тетя Сара, а в придачу дядя Джафар подарил нам тетрадки в косую линейку из непромокаемой бумаги и стеклянные чернильницы-непроливайки. Мы учились в первом классе, и это были невиданные по тем временам подарки. Я не помню, о чем говорили тогда за столом, наверное, о пустяках. Осталось лишь ощущение праздника, теплоты. И благодарности за эту теплоту и за этот праздник. Та весна теперь кажется такой далекой, как будто это было в другом мире…

S.

Памяти Мансура Векилова

– Алло!.. Привет!
(Ваш голос шаловливо-мудрый –
он добр. Как добрый вечер. Или утро.)
– Дела?.. Прекрасно!
Ночь с журналом провозился.
Послушать хочешь?..
Новый стих родился...

– Вы интересно пишете стихи...
Алло!..
(Как видно, тамошние барышни *глухи́*...)
Я вас не слышу.
Как Вам ТАМ писалось?..

Звонок из ниоткуда.
Мне осталось
сумбурность строк дарить,
как дарятся цветы.
Тебе. Как ты просил.
Я в первый раз на «ты».

А вы что подумали?..

Утюги на колесах асфальт городской гладили.
Шел заученной улицей в бар –
дегустировать истину.
Ну а в вас никогда вопросом душевным не гадили?..
Я скорее почуял ее, пусть достойную кисти,
но она отнюдь не такая, какую в душе вынашивал.
(Я бы даже добавил, из «*столько не выпить мне*» серии).
Я ее о чем-то совсем ненужном расспрашивал.
Молчалива, однако. И к ней я проникся доверием.
К ночи вечер склонился.
Ко мне – моя собеседница.
Что-то шепчет настойчиво, липнет, зудит назойливо...
Угораздило же ее ко мне присоседиться!..
Да, бармен, у тебя, как всегда, отличное пойло!
Вот даже блеклая дама сверкнула яркими гранями –
Распустились, за гранью приличия, руки и позы...
Я решил распрощаться с ней. Ведь и время нераннее.
Да куда там!.. Вцепилась клещом, засела занозою.
Не жалею ничуть, что провел с нею ночь сумасшедшую.
Глаз сомкнуть не дала: так жива, что и я с нею ожил.

Откровеньем случилась страсть, на меня сошедшая.
Убаюкать пытался ее. А она – растревожила,
Разлопатила душу мою ухабами-ямами.
И осталась со мной.
Желаньем ли, чувством ли, думой ли...

Я хореем корявым, а не Сергеича ямбами,
попытался Мысль описать.
А вы что подумали?..

Монолог Банги
(Подслушанное)

Ты замер, очарованный Луною...
Ну хочешь, вместе на нее повоем?
Лишь только позови тихонько: Банга!..
Мне грозным быть положено по рангу,
чтобы спугнуть чужих зловещим лаем.
Будь трижды проклят город Ершалаим!..
Пророки, предсказатели, убийцы...
Не бойся их. Мы в сон, что часто снится
тебе и мне, сбежим... Смотри, дорога
к Луне ведет от самого порога.
Я побегу вперед: там ждет философ,
а ты назадаешь ему вопросов.
А ты, готовый погубить карьеру,
так счастлив, что готов принять на веру,
что казнь – лишь сон...
А просыпаться страшно.
И снова храм, Антониева башня,
доносчики, проныры и кликуши.
И вновь тебя бессилья злоба душит:
ведь казнь *была*. Проклятая работа
дана судьбою сыну звездочета!..
Но совесть не отмыть, умывши руки –
на казнь послав Его, себя на муки
бессмертия обрек и вечной славы.
В бессмертной, вечной книге даже главы
напишут о тебе и том бродяге...
А позже фарисеи и сутяги
невинно убиенного оплачут.
Известные слова переиначив,
промолвят о тебе: «*Повинен (в) смерти*».
А позже – на заляпанном мольберте
картина Рембрандта (или Чизери)...
На ней – Пилат. Ты зря Ему не верил
и ничего не вынес из урока
о том, что трусость – худший из пороков.
Но я, хозяин, вечно буду рядом
с тобой. Так будет истинно. Так надо.
Ведь тот, кто любит, разделяет участь...
Смотри, как город пожирает туча.
Гроза идет, и я не меньше трушу –

и твой порок с тобой делю... Послушай,
то не скулеж – моя тебе осанна!..

...14-е, месяца нисана.

Метаморфозы

1
День минувший

Я в пленительность дѐвичьих грез посвящала несмело
свой дневник, что в ларце потаенном давно хранится.
Боже правый!.. А мне и мечтать не решалось-не смелось,
что журавль с небес обернется ручной синицей.
На балу у княгини N, средь гостей приглашенных,
окружен разодетых щебечущих дам стайкой –
Аполлонова стать, гордый профиль и взор. Лощеный
франт. Почти не дыша, на него взглянула утайкой.
Вся от страсти пылая, законы презрев этикета,
я украдкою плечико платья спустила. И веер
призакрывши, едва приложила к правой щеке.[1] Так,
без излишних словес в приязни призналась я. Фейер-
верком чудных созвучий оркестр полонез брызнул.
Мой пленительный идол приблизился поступью твердой:
«Окажите, сударыня, честь...» Полон взгляд укоризны
был у каждой из дам. Я ж, взглянув снисходительно-гордо,
вмиг забыла о них, погрузившись в торжественный танец.
Следом вальс закружил, чаровали кадриль и мазурка...
Знать, корсеты туги у следивших за нами жеманниц –
так неистовы вееры были... Но вдруг в чернобурке
(не одна я не чту этикета) влетела вихрем,
разъяренной пантерой, отвратная крайне особа,
взмахом резким руки превратив в торчащие вúхры
мой изящный парик...
Жаль. Но принц оказался снобом –
не иначе. Меня оттолкнув, подобно мужлану,
(Вся в царапинах фурия!.. Будет ей впредь неповадно!..)
«*За бессовестный флирт я с ней расплатился славно.*
***Вы – орудие мести*».**

...Не сбылся мой принц. Ну да ладно.

2
День сегодняшний

Я в ЖЖ у себя чувака намечтала в треде.
И сбылось. Подцепила его на отвязной VIP-дискотеке.
Классно выбрита бровь и банданой подвязаны дреды...
Музыканты лабали джазуху, диджей ставил треки.
Вау-у!!.. Прикольный чувак! И на нем я конкретно зависла.
Торс – ну просто отпад! А тату на груди – чисто сказка!..
Вся я в шоке стою. Даже челюсть нехило отвисла.

[1] На языке светского этикета: приложить полузакрытый веер левой рукой к правой щеке означало «да».

Я бегом в туалет, чтоб подправить и губки, и глазки.
Тёлок здесь зашибись, и прикид у каждой что надо.
Я реально зверею. Подсели к нему две мочалки.
Ладно (*тут непечатно*) снимаю свой свитер...
Чувак свèрлит взглядом.
А мочалки закашлялись дымом. Мне стало их жалко.

Тут мой мачо ко мне подвалил –
типа что там за гёрла?..
Ну, а ты ничего... сексапильная милая детка...
В животе потеплело и страсть из меня так и пёрла.
Чтоб приход был, текилу заела экстази таблеткой.

Я реально тащусь, вспоминая, как мы зажигали
(Как удав по наждачке,
как шланг длинный по огороду...)
Блин, губу раскатала... Но жесть, как меня обломали –
Ведь развесила уши, поверив такому уроду!..
На танцпол притащилась лахудра.
Вцепилась мне в патлы...
А мой мачо стоял, зажимая в зубах сигарету.
Он меня оттащил от своей расцарапанной падлы..
И сказал: «Тут короче такой вот расклад... Типа... это...
Я сегодня просёк, что она у другого тусила...
В общем, впарила мне, что осталась с мамашей на даче.
Типа, месть...»
Я экстази опять закусила... Вся такая стою...

Ну да фиг с ним, с несбывшимся мачо!..

Точка G

Как был ты в поисках упорен и неистов!..
Она и днем – потемки. Ты же по ночам
искал в ней точку G... Порой специалистам
не разобраться с ней. Нередко – и врачам.
И я, ценя твои влюбленные порывы,
ее раскрыла настежь, и тебе
дала возможность поиска.
Ведь ты терпел нарывы
от жгучих ран, что нанесла тебе
стрела Амура. Сбросив все условностей вериги,
тебе препятствий не чинила, зная, как
был сложен путь Колумба, Кука, Америго...
Пусть пионеров имена гремят в веках!..

Коварный!.. Если целью был бы только поиск...
Ты ею, милый, видно, завладеть взалкал,
как археолог, на глубинах самых роясь.
Чем глубже рыл ты –
тем возвышенней накал
страстей. И близостью открытья окрыленный –
«Обрящет ищущий!..» Ведь шансы неплохи.

Но вдруг ты сник. Тщетой безмерно утомленный,
ты бросил поиски. И стал – читать стихи.
И я, внимая им в волшебном упоеньи,
в любви призналась...
Незабвенный Архимед
так не кричал, как ты воскликнул в то мгновенье:
«Нашел я!.. Эврика!.. Победа из побед!»

Вините в пошлости, ханжи и с ними иже?..
Но точка G – уже любовное клише.
Да, Графенберг давно нашел ее (пониже)...
А мой любимый смог найти ее –
в душе.

Поэту

Благословен поэт, в ком мысли рифмой
Сроднили боль, желанье, непокой...
Благословен, который может крикнуть
О том, что возбраняется толпой.

Благословен немного сумасшедший,
Ответов ищущий, что нету и в помине.
Пусть ждет безумье истину нашедших –
Я не страшусь безумия отныне.

Спите
или Вальс толерантности

Спите, девочки.
Спите, мальчики.
Спите, азики.
Спите, хачики,
Москали, и хохлы,
и все прочие –
Нагрешившие и непорочные.

Спите, черные,
Спите, белые,
Научённые неумелыми,
Ненасытными да нечистыми.
Спите, хилые и плечистые.

Не страшна вам теперь хворобушка,
Спите, стреляные воробушки.
Крепко спите в земле, болезные,
Жаль, геройство то –
бесполезное...

...У Мохаммеда и у Иакова
Плачут матери одинаково.

АЛАДДИН ЯГУБОВ

Яным
(«Муму» XXI века)
Рассказ

Люди, позируя, фотографировались на фоне убитой волчицы. Возле хищницы лежало трое щенят. На них не стали тратить патронов, безжалостно забив камнями.

Состоятельные горожане приехали в эти горно-лесистые места поразвлечься. Их было пятеро, с новыми американскими ружьями.

– Это я ее подстрелил, – заявил Гасан, надавив носком сапога на сосок мертвой волчицы. Брызнуло молоко.

Никто ему не возразил. Четверо остальных были его подчиненными в финансовом отделе одного из министерств республики.

К логову зверя «гостей» привел местный житель, глухонемой Фазиль. Природа человека удивительна и загадочна. До сих пор на многие ее вопросы не найдены ответы. Вот и теперь никто не пытался понять, как человек, от рождения с недугом глухоты, может быть «следопытом» и охотником. Давно подмечено, если Аллах лишает человека чего-то, то другим он наделит его вдвойне. Так произошло и с глухонемым. Он обладал необыкновенным обонянием, проще говоря, нюхом ищейки, а зоркость была подобна орлиной.

Нору матерого хищника Фазиль обнаружил еще месяц назад. Она была обжитой, но волчицы в ней не было. После охотник не раз наведывался сюда, однако зверь словно чувствовал его, вовремя покидая логово.

Два дня назад, вечером, появились горожане. На Фазиля, как знающего лес, им указали соседи глухонемого. Одинокий хозяин пригласил охотников в дом. От предложенного скромного ужина гости отказались, расставляя на столе свой двухдневный запас продовольствия. Тех продуктов, что лежали теперь перед хозяином дома, неприхотливому следопыту с лихвой хватило бы на целый месяц. Особенно его поразили две полные упаковки импортной водки. К спиртному Фазиль был неравнодушен. Перед сном договорились о цене за ночлег и услуги следопыта в выслеживании дичи.

Наутро охотники спустились к озеру у подножия горы. Там, в зарослях камыша, обитало небольшое семейство диких кабанов. Обнаружив секача, Фазиль одному ему известным способом выманил того на поляну. Пять одновременных ружейных выстрелов не оставили шансов животному. Довольные гости, как и положено, сфотографировались у поверженного трофея. Глухонемому понадобилось пятнадцать минут, чтобы освежевать тушу дикой свиньи.

Удачную охоту, вернувшись в дом, отметили шашлыком из свежей кабанины и изрядным количеством спиртного. К мясу Фазиль не притронулся, но водку пил, не останавливаясь, закусывая овечьим сыром. После того, как люди утолили голод, а алкоголь по крови добрался до мозговых извилин, наступило время охотничьих баек.

Многие глухонемые умеют читать по губам, не был исключением и Фазиль. Только он называл это «слушать по губам». И вдруг прозвучало слово «волк», заставившее хозяина дома осторожно коснуться плеча говорившего.

– Чего тебе? – спросил гость.

Глухонемой знаками объяснил ему, что готов показать охотникам волчью нору и, если повезет, вывести на хищника. За услугу он просил дополнительно три бутылки водки, как доплату к ранее выплаченным ему ста пятидесяти манатам. Глаза у приезжих загорелись. Предложение было принято единогласно. На рассвете Фазиль повел их в лес.

…Громко и весело обсуждая удачную охоту, горожане, поднимаясь по тропинке, вышли на дорогу. Через три часа черный джип доставит их в Баку. И долго еще сослуживцы будут с восхищением разглядывать на снимке охотников над убитой волчицей, отмечая их удачливость и бесстрашие. А сама фотография, увеличенная до фотопортрета, займет достойное место в кабинете, за спиной начальника финансового отдела Гасана Фараджева...

Оставшийся в лесу Фазиль закопал волчицу и щенят. Убить кормящего зверя, пусть даже хищника, для него было табу, через которое сельчанин никогда не переступал. Присев на поваленное дерево, он отложил ружье и вытащил из вещмешка водку. Было не по себе. Неожиданно он со всего размаха швырнул бутылку в поросший мхом камень. Дернул же его черт привести этих людей сюда. И на что он позарился? От стыда перед самим собой Фазиль готов был сквозь землю провалиться.

Глухонемой потянулся за ружьем. Надо было возвращаться домой. Вдруг он почувствовал, что на него кто-то смотрит. Фазиль обернулся. На месте, где была зарыта хищница, стоял волчонок. Откуда он появился? Где он прятался все это время? Осталось загадкой. Одно ясно – это последний щенок из волчьего помета. С трудом выговаривая «яным», Фазиль присел на корточки и поманил его. Сказать «yanıma»[1] у него не получалось. Многие ли знают, каких мучений стоит глухонемому произнести слово? Наверное, чтобы это понять, надо испытать самому этот недуг. Удивительно, но волчонок подбежал к нему.

Прошло два месяца. Каждый раз, выходя из дома с похлебкой, Фазиль подзывал щенка к себе уже привычным – «яным». Волчонок давно воспринял это слово, как свое новое имя и, услышав его, радостно бежал к хозяину. В три месяца Яным выглядел как взрослая собака. Сами же дворовые псы волка обходили с опаской. Впрочем, как и люди.

Охота была основным промыслом Фазиля. Однако в летние месяцы он за определенную плату брался пасти сельских овец. С тех пор, как на пастбище с ним отправлялся Яным, отара всегда возвращалась в село в целости и сохранности. И все равно люди просили Фазиля избавиться от волка, а если быть точнее, усыпить его или пристрелить. Все доводы, что Яным безобиден, не воспринимались соседями. Они были уверены – волку в селе не место.

Однажды на хищника, которому исполнилось всего-то восемь месяцев, напал трехлетний волкодав Алабаш. Каково же было удивление сельчан, когда после короткой схватки грозный пес лежал на земле с перерезанным горлом. После этого люди уже не просили, а требовали у Фазиля избавиться от хищника. Но еще год Яным верно служил хозяину. Ни одна собака не могла выслеживать так дичь, как делал это волк. К страху перед волком прибавилась и зависть к Фазилю со стороны охотников.

[1] Yanıma – «ко мне» *(азерб.)*

Пожар случился летней ночью. Фазиля разбудил Яным. Зверь запрыгнул в окно и стащил хозяина с кровати. Горел дом соседа, Ибрагима. Над крышей поднималось красное зарево. Сельчане, передавая друг другу ведра с водой, пытались справиться с огнем. Жена Ибрагима в истерике рвала на себе волосы, расцарапав в кровь лицо. В доме осталась младшая дочь, Севиль. Детский крик и плач сводили с ума. Мужчины повалили Ибрагима на землю, удерживая от попытки броситься в пламя. Спасти ребенка было невозможно.

И тут Яным по команде Фазиля бесстрашно ринулся в пекло. Отыскав ребенка, он мощными клыками перехватил предплечье девочки. Прогоревшая крыша вот-вот должна была рухнуть. Не обращая внимания на боль, доставленную ребенку, волк вытащил ее из-под кровати. Яным успел выскочить из пламени, когда дом рассыпался, словно карточный. Пятилетняя Севиль была спасена. Когда девочка пришла в себя, она заикалась. По руке, от плеча, стекала кровь. Мать, захлебывалась слезами радости, прижимая к себе ребенка. Ибрагима и его семью окружили сельчане. Кто-то принес одеяло и укрыл Севиль. В стороне от людей стоял Яным с диким оскалом и страшными глазами. На хищнике дымилась шерсть. К утру из района прибыли «скорая» и пожарные. Люди в белых халатах обработали рану ребенка, нанесенную грозными клыками волка. Ожогов, как ни странно, не было.

Девочку отвезли в районную больницу. Там врач-логопед заявил Ибрагиму, что дефект речи ребенка – следствие неожиданного испуга. Когда отец и врач поинтересовались у Севиль, что ее так сильно напугало, та, заплакав, сказала: «Волк».

Все село собралось у дома Фазиля. Люди требовали от глухонемого избавить их от дикого зверя. Особенно усердствовал Ибрагим. Неблагодарный сосед слишком быстро забыл, кто был спасителем его ребенка. В руках он держал плотничий топор. Яным, почувствовав угрозу, забился в конуру. Следопыт стоял перед соседями, пытаясь движением рук и мимикой лица объяснить людям, как они не правы и жестоки к волку, спасшему девочку.

Но все было бесполезно. Сельчане были настроены решительно. Понимая, что сейчас может произойти неизбежное, Фазиль дал слово пристрелить Яныма. Только после этого люди разошлись.

Весь день одинокий сельчанин просидел рядом с волком, почесывая у него за ухом и поглаживая по спине. Яным был удивлен лаской вечно угрюмого хозяина. Своим звериным инстинктом он чувствовал, что происходит что-то неладное.

Вечером в лесу, сняв цепь и расстегнув ошейник, глухонемой приказал Яному бежать. Весело подпрыгнув, тот бросился в заросли, посчитав, что началась очередная охота. Через некоторое время волк оглянулся. Хозяина нигде не было. Обогнав Фазиля на опушке, Яным резко остановился перед ним с немым вопросом в глазах. Так могут смотреть только преданные людям собаки, пытаясь понять, что от них хотят.

Фазиль приказал Яному уходить, но волк оставался на месте. Тогда охотник направил на него перезаряженное дробью ружье. Хищник удивленно отбежал и снова опустился на задние лапы. Он давно знал, как опасна эта палка, убивающая на расстоянии. Фазиль прицелился, а Яным все не убегал.

Следопыту мешали слезы. Наконец, совладав с собой, он выстрелил. Дробь не способная убить крупного хищника, боль приносила неимоверную. Волк взвыл от неожиданного удара картечи. Через минуту он был далеко в лесу.

«За что?» – этого Яным так никогда и не понял.

Возвращаясь домой, Фазиль заглянул в сельский ларек и купил водку. Это была первая бутылка спиртного после случая с волчицей.

Прошло два года. Стая волков безжалостно резала овец. Грозные кавказские овчарки оказались бессильны перед хищниками. Каждый день чабаны на эйлагах не досчитывались трех-четырех ягнят, а то и взрослых особей. Однажды, после очередного набега на отару, Фазиль увидел, как волки, вытянувшись в цепочку, уходили в горы. Достать их из охотничьего ружья не было возможности. Слишком уж далеко находились «матерые». Их было семеро, волокущих за собой двух зарезанных овец. Даже значительное расстояние между волками и человеком не помешало следопыту обратить внимание на то, что впереди идущий вожак был намного крупнее остальных. Хищники применяли в своих набегах до гениальности простую хитрость. Они всякий раз действовали по одной и той же схеме. Двое из стаи выбегали к отаре. Затем неслись, что есть мочи, в лес или горы, увлекая за собой собак. Оставшись без защиты кавказских овчарок, безобидные овцы становились легкой добычей остальных хищников во главе с вожаком.

В тот год волки принесли немало бед селу. Впервые за много лет вернувшиеся с летних пастбищ отары не увеличились в поголовье, а сократились. Серые разбойники бесчинствовали, становясь полновластными хозяевами окрестности. Надо было что-то предпринимать, иначе хищники перережут всех овец. Интересовал людей и другой вопрос. Уже были случаи, когда жители села сталкивались с хищниками на лесных или горных тропах, и ни разу волки не проявили агрессивности по отношению к человеку. Люди задавались вопросом: почему?

Наступила холодная зима. Заботливые сельчане еще с лета впрок запаслись сеном. С прокормом для скота можно было не беспокоиться. Волновало людей другое. Голодная волчья стая с наступлением ночи подбиралась к селу. Завывания хищников за околицей наполняли сердца тревогой. Собаки заходились лаем, не давая жителям уснуть до утра. Но вдруг волки неожиданно исчезли, и люди облегченно вздохнули.

В середине февраля село накрыла метель. Ибрагим встал с постели напиться воды, когда услышал в хлеву невообразимый шум и блеяние овец. Он схватил ружье и выбежал во двор. Сторожевой пес Топлан был мертв. Бесчинствовали волки. Почуяв человека, «матерые» бросились наутек, выпрыгивая через отверстие в низкой крыше хлева. Ибрагим успел произвести два выстрела. Село проснулось. Прибежавшие соседи стали свидетелями страшной картины. Из двадцати овец целыми остались только восемь. Остальные – зарезаны или покалечены. У трехлетней коровы было порвано вымя. Во дворе лежал агонизирующий волк. Посочувствовав хозяину дома, люди поспешили проверить свою «живность». Пострадал от хищников только Ибрагим. Это было второе крупное несчастье, постигшее сельчанина. Он только летом закончил полную отстройку дома после пожара.

Утром к соседу зашел Фазиль. Всего того, что произошло ночью, он не слышал. Потому и спал крепким сном. Ибрагим резал покалеченных овец, не дожидаясь их падежа. Поздоровавшись, следопыт покачал головой. Он посмотрел на околевшего волка, а затем увлекся следами хищников. Под навесом, у хлева, они еще сохранились. Да, это была все та же стая. Особенно Фазиль отметил для себя необыкновенно крупные отпечатки лап одного из волков. Вернувшись домой, он проверил своих домашних животных. Все овцы были целы. Но возле сарая и под окнами дома отчетливо виднелись все те же отпечатки лап вожака. Фазиль призадумался.

Через день метель улеглась. А спустя два дня, в лунную ночь, волки пробрались в хлев старого Джамала. Утащив трехмесячного ягненка, стая, на удивление, не тронула остальных овец. И снова Фазиль нашел у себя во дворе следы ночного «гостя». Дерзкие набеги продолжались до марта. И каждый раз вожак успевал заглядывать во двор к следопыту.

Это уже был вызов. За время своих бесчинств волки потеряли двух членов стаи. А в первой декаде марта сельчане устроили облаву. В расставленные капканы угодило еще двое хищников. Где-то перед Новрузом, Фазиль отыскал волчью лежку. Подкравшись с подветренной стороны, охотник точным выстрелом уложил поджарую самку. В живых остался один вожак.

Среди белого дня, в первых числах апреля, волк, не обращая внимания на собак, вошел в село. Такой дерзости от «матерого» никто не ожидал.

Его цель была – хлев Ибрагима. Опешивший от наглости хищника, хозяин дома выбежал во двор, позабыв ружье. Зарезав двух овец, волк медленно прошествовал мимо изумленного сельчанина, застывшего на месте от страха.

Перейдя улицу, зверь заглянул в окно дома Фазиля. Глаза волка и охотника встретились. Понадобились секунды, прежде чем Фазиль понял, что происходит. Он схватил ружье и выбежал на порог. Вожак стоял перед ним в пятнадцати шагах. Охотник прицелился. Огромный волк не двигался. И вдруг Фазиль увидел в глазах хищника почти невыносимую человеческую тоску. Он дрогнул.

Впервые «следопыт» промахнулся.

Вожак медленно повернулся и мелкой трусцой побежал за околицу. Он не обращал внимания на пришедшего в себя Ибрагима, успевшего добраться до ружья. Сосед глухонемого от волнения стрелял мимо. Но вот второй выстрел Фазиля достиг цели. Яным скрылся в зарослях леса. Это был он. Выбежавшие на выстрелы сельчане слушали Ибрагима.

– Это был Яным, – кричал тот, – это Фазиль и его волк принесли нам столько несчастий.

Охотник «слушал по губам».

Он усмехнулся. И это говорит человек, чью дочь спас зверь. Понятно, почему Яным затаил обиду на неблагодарного. Но, с другой стороны, сколько бед принес волк ни в чем не повинным людям. Его надо было остановить.

О том, что это был Яным, сельчане и так давно поняли. Иначе как объяснить, что волки до сих пор не тронули овец охотника. Причем дом и ветхий хлев глухонемого стояли на самой окраине села, почти у самого леса.

– Он его снова отпустил, – не унимался Ибрагим, все больше настраивая сельчан против Фазиля.

Охотник вошел в дом. Через минуту он появился на пороге с подсумком-патронташем. Закинув за плечо ружье, глухонемой сделал шаг вперед. Люди расступились.

Яным, истекая кровью, забирался в горы. Его неотступно преследовал Фазиль. После полученного ранения волк еще больше обозлился на людей. Он хотел выжить, чтобы мстить им. Там, наверху, на границе с вечными снегами, на черных скалах, растет целебный мох. Яным должен найти его. Тщательно пережевав горечь, он проглотит ее и влажным зеленым языком зализет рану. Потом ему надо найти место и отдохнуть до утра. К завтрашнему вечеру волк будет полностью здоров.

Глупые люди, потеряв когда-то животный инстинкт, ничего не знают о целебности мха на черных скалах. Они сами себя оторвали от матери природы. Это они нарушают ее законы. Он, Яным, объявляет им войну. Но прежде ему надо оторваться от хозяина. Впрочем, какой он ему хозяин? Следопыт дважды ранил его…

Фазиль продолжал карабкаться в горы. Он шел по следу. Но разве для него это след? Охотник шел по кровавым отметинам на скалах. Он обязан настичь волка. Слишком далеко зашел Яным, чтобы остановиться. Фазиль хорошо осознавал, что в этом была и его вина. Нельзя было приносить волчонка в дом. Люди и волки – понятия несовместимые. Одни – дети дикой природы, другие –добровольные изгои, отгородившиеся от этой природы завесой цивилизации.

Уходя от преследования, Яным прошел по узкой тропинке над пропастью. Волк не знал, что за поворотом она обрывается. Накануне случился обвал. И даже хищник, а тем более, раненый, не способен был его преодолеть.

Фазиль, прижимаясь к скалам, продвигался по самому краю пропасти. Все говорило о том, что он почти настиг волка. Капли крови под ногами еще не успели свернуться. Скоро должна наступить развязка. И она наступила.

Яным тоскливо смотрел на острые камни обвала. Обескровленный зверь понимал – ему не пройти. Надо было возвращаться. Там, перед тропинкой над пропастью, был другой путь наверх. Волк не пошел по нему, пытаясь сократить дорогу к черным скалам, и вот теперь вынужден повернуть назад. Он и не подозревал, что человек так близко. Яным недооценил своего бывшего хозяина.

Из-за неожиданности встречи с волком, Фазиль потерял равновесие. Охотник успел накинуть ремень от ружья на тонкий выступ остатка скалы. Яному было достаточно секунды, чтобы осознать произошедшее. Необычная петля неумолимо скользила к краю выступа.

Фазиль висел над пропастью. Подтянуться не было сил. Сказался долгий подъем в горы. Волк бросился к хозяину и вцепился огромными клыками в кожаный ремень. Не было сил и у Яныма. Слишком много потерял он крови. Лапы скользили…

Они так и летели в пропасть в одной связке – Яным и Фазиль. Человек и Волк.

ТАИРА ДЖАФАРОВА

АЛЛОЧКА

Эссе

Почему ж так ранит ныне
Отпечаток давних лет?

Николай Хатунцев

Аллочку все привыкли считать моей двоюродной сестрой, но на самом деле она была моей двоюродной тетей. Аллочка, двоюродная сестра моих замечательных тетушек, была намного моложе них, и по возрасту она, конечно, больше годилась мне в старшие сестры, чем в тети.

Аллочка была необычным человеком. Необычном во всем – и внешне, физически, и главное – духовно. Судьба к ней оказалась немилосердна. Начнем с того, что она перестала ходить, когда ей минуло восемь лет, как только началась война с Германией, и прекратилась поставка необходимых для нее немецких лекарств. Ее отец, Халыгбек Джафаров, младший брат моего деда Ага Мехти Джафарова, очень известный в Баку врач-дерматолог, профессор, первый доктор медицинских наук в Азербайджане, не мог ничего сделать. И вскоре у его любимой дочери началась «сидячая жизнь», ее ножки стали усыхать.

Но, несмотря на этот недуг, Аллочка окончила нашу 23-ю школу и поступила на филфак АГУ. Конечно, все это время заботливые и дюжие домработницы носили ее на руках, а кроме того, стараниями отца в ее распоряжении имелась «Победа» вместе с водителем. Отец старался сделать все, чтобы его дочка не чувствовала себя ущербной, чтобы жизнь ее была наполненной. Мы виделись с Аллочкой, я время от времени заходила к ним в гости, но близко общаться с ней я стала, уже учась в старших классах.

Семья Халыгбека жила совсем недалеко от нас, в архитектурном доме на улице Максима Горького (теперь – Мирзы Ибрагимова), 13, в большой, уютной квартире на втором этаже с балконом. Когда Аллочка училась на филфаке, дом ее стал, что называется, настоящим литературным салоном. Для меня каждый раз, когда я к ней приходила, это было встречей с поэзией, с воодушевляющей красотой, с романтикой. В этом доме я узнавала обо всех новинках литературы. В ее комнате всегда стояли цветы, ее образ был для меня одухотворенным, возвышенным. Приходили и уходили ее сокурсницы и сокурсники, казавшиеся мне людьми необычными, очень интересными, будущие и уже состоявшиеся журналисты, поэты, писатели. При этом с большим восторгом здесь встречался и приветствовался каждый новый «талант».

Таким мы все считали, например, Николая Борисовича Хатунцева, одаренного молодого юриста, а главное – поэта. Позже, вспоминая эти и еще более ранние времена, он писал в стихотворении, посвященном Алле Джафаровой:

Не детство, а тоненький звук,
Не юность, а пенье синицы.
Как все изменилось вокруг –
Прохожие, улицы, лица.
Припомнились годы, когда
У свай, в суматохе печальной,
Еще отражала вода
Ажурный кораблик купальни.
И ветер казался свежей,
И море плескало на плиты,
И много всего, что уже
Забыто и полузабыто.
Утраченный некогда мир
Оттаял и в памяти ожил,
И, власть над душой сохранив,
Зачем-то ее растревожил.
Он дышит в закатном окне
Еще не потерянным раем,
И кажется близок вдвойне,
Когда мы почти умираем.
На полчаса в прошлом застрянь
И думай, что жизнь не пропета...
Что было? Да было ли впрямь,
Иль только почудилось это?

Каждый, входящий в Аллочкин дом, ощущал здесь особую поэтическую ауру, дружескую и интеллектуальную атмосферу высоких интересов и устремлений. И каждый, я по себе это чувствовала, принятый в этот дружеский круг, здесь невольно становился лучше, ощущая и себя возвышенней и утонченней. В этом доме постоянно читались стихи, запальчиво обсуждались все произведения литературы, как классика, так и современные новинки. И попасть сюда далеко не каждому удавалось. В то же время это был гостеприимный дом с незакрывающимися дверями. Сюда были вхожи люди всех профессий и самых разных возрастов.

Мама Аллочки, Хавер ханым, бывшая студентка Халыгбека, оказалась прекрасной и радушной хозяйкой. Она вкладывала всю свою душу в изготовление бакинских пловов, пахлавы и других вкусностей, чтобы угодить дочери и ее гостям. Часто навещал Аллочку Имран Касумов, наш родственник, секретарь Союза писателей. Он ценил ее ум, ее способности и предлагал ей заняться переводами азербайджанской и французской литературы. А у нее и в самом деле были отличные способности, еще в школе учителя говорили, что у нее «светлая голова».

Удивительно, но большинство приходивших в этот дом хотели прежде всего встретиться не с его хозяином, аксакалом и уважаемым врачом Халыгбеком, а с его дочерью. У нее ко всем находился ключик. Каждый в ее присутствии чувствовал себя и нужным, и значительным человеком. Беседы с ней воодушевляли, обогащали, подбадривали. Приходившие в подавленном настроении отсюда уходили в приподнятом. Многие, что называется, открывали душу, выкладывали самое затаенное, будто духовному отцу. На какой-то миг, может, проскальзывала мысль: «боже, как я смею наваливать на нее свои горести, беды, ведь ей, с ее болезнью, и самой не сладко в этой

жизни», но она тут же исчезала. В Аллочке чувствовалась большая сила духа, никто не замечал ее физической неполноценности, настолько она умела создать вокруг себя атмосферу радости, интереса ко всему, одухотворенности.

Многие приходили к ней за советами и получали помощь. Жизнь вокруг нее как-то по-особенному бурлила, зарождались красивые романы, кто-то отчаянно ревновал, кто-то безумно влюблялся, и все это происходило не без ее участия. Бывало, что и сам профессор обращался к дочери за советом, а Хавер ханым даже обеды готовила под ее руководством. Меня удивляла эта ее особая жизненная сила, какой-то магнетизм, и иногда я приставала к ней с вопросом: «Отчего ты такая?» На что она отвечала: «Если бы я была здоровой, я бы такой не была».

Мне врезался в память один вечер. Как-то в город приехали чешские инженеры, что в то время в Баку было редкостью. И кто-то из Аллочкиных друзей пригласил их в дом Халыгбека. Помню, что большая гостиная была ярко освещена, длинный старинный стол празднично накрыт, уставлен яствами. Кто-то из ее подруг играл на рояле, дверь на балкон, выходящий на улицу Горького, была распахнута, и звуки музыки разносились далеко вокруг.

И еще запомнились летние вечера на ее балконе. К ним тщательно готовились, наряжались, приглашали кого-то из поэтов, оживленно и громко беседовали, читали стихи, не упуская в то же время из виду никого из прохожих. Среди них мог оказаться какой-нибудь интересный молодой человек, который жил неподалеку и пользовался благосклонным вниманием девичьей кампании. «Ой, кажется, приближается Гера, тише, тише». И такие посиделки на балконе продолжались далеко за полночь.

Я бывала очень рада, когда меня приглашали в гости в эту взрослую, интересную компанию. Это было интересное, живое время, время первых успехов тех, кого сейчас называют шестидесятниками. И мне посчастливилось дышать этой духовной атмосферой. Тогда Аллочка мне чем-то напоминала Наташу Ростову, так же восторженно воспринимавшую все вокруг.

Те годы Аллочкиного студенчества и молодости, когда она была в силах сидеть, остались лучшими годами ее жизни. Когда она была студенткой первого курса, в нее влюбился студент юрфака Алеша. Он приехал в Баку учиться из Питера и както тоже попал в салон Аллочки. И влюбился в нее. Надо сказать, что она была хороша собой: большие глаза, пушистые светлые волосы, миловидные черты лица, всегда ухоженная, тщательно одетая. Помню, что она очень следила за стилем одежды, старалась придерживаться аристократических манер, что в советское время было редкостью. Этому она учила и меня, а также всех своих подруг.

В одежде, говорила она, должна быть гармония: перчатки, сумка, шляпка, обувь должны соответствовать цвету одежды. Причем должны быть одни духи, один узнаваемый аромат. У нее самой всегда были одни и те же изысканные духи. Душились перчатки, шляпка, сумка... Девушка должна быть ухожена – естественно, прическа, руки должны быть в порядке, ногти обработаны.

Алла обычно писала письма своим друзьям, в том числе и мне, когда я училась в Москве. Письма ее всегда были написаны на красивых листках почтовой бумаги с тонким запахом ее духов, у меня до сих пор сохранились маленькие изящные конвертики с неповторимым, будящим воспоминания ароматом.

Помню, что она старалась привить этот стиль поведения своим подругам, ну и, конечно, мне в первую очередь. Если я приходила к ней в одной и той же одежде, меня встречала усмешка: «Что же это ты, дорогая, зимой и летом одним цветом?»

Однажды ее ближайшая подруга Виктория прибежала к ней утром в пальтишке, наброшенном на халат. И Аллочка расстроенно упрекнула ее: «Мне неприятно видеть тебя в таком виде, я хочу, чтобы все вокруг было красиво». Если кто-то приходил к ней в неглиже, она воспринимала это как личное оскорбление.

Рядом с ней мы все невольно подтягивались, следили за собой, за своей одеждой. Когда заказывали у портнихи новые наряды, советовались в первую очередь с ней. Она старалась подражать лучшим героиням французских романов, которыми тогда зачитывалась, и хотела, чтобы окружающие ее подруги стремились к тому же. И ей это отлично удавалось. Нам всем она прививала светские манеры. Я, как родственница, и ближе, и дольше всех наблюдала это. Интересно было замечать, как ее очередная новая подруга, благодаря ее урокам, постепенно превращалась из Золушки в принцессу, способную очаровывать. Мы все были ей очень обязаны.

Но я прервалась на рассказе о том, что на первом курсе в нее влюбился Алеша. Летом, после окончания занятий, профессор Халыгбек вывез свою семью на дачу в Бузовны. Алеша приезжал туда к ней в гости.

Он просиживал в разговорах с Аллочкой ночи напролет, до первой электрички. Она и позже любила проводить время на даче в ночных разговорах с подругами, ложась спать лишь под утро. Здесь взахлеб читались стихи, обсуждались новые книги, здесь спорили, делились секретами, строили планы. А центром была Аллочка. Она будто знала, что жизнь у нее будет короткая, и торопилась жить – общаться, переживать, как свои, чужие радости и печали, старалась ощутить вкус жизни, изведать ее сполна. И это ее чувство полноты жизни передавалось окружающим.

Алеша так серьезно увлекся ею, что решил жениться и сделал Алле предложение. Халыгбеку не нравилась эта любовная история, он переживал, боялся, что брак окажется недолгим, и дочь будет несчастной. Алеша получил отказ. Но его чувства, как ни удивительно, сохранились до старости.

После окончания вуза он уехал в Россию, там стал успешно продвигаться по служебной лестнице. В конце концов достиг того, что стал заместителем генерального прокурора СССР Руденко. И я хорошо помню, что, приезжая в Баку в командировки, он всегда присылал Аллочке большие букеты цветов…

Однажды все мы, Аллочкины друзья, испытали настоящий ужас.

Аллочка в это время уже работала в издательстве Академии наук, с успехом занимаясь редактированием научной литературы. Помню, что некоторые мои знакомые, издавая свои работы, стремились, чтобы они попали в ее редакторские руки.

Директором издательства в те времена был известный Аждар Ханбабаев.

Их первое знакомство произошло через Халыгбека. Профессор лечил маму Ханбабаева, у которой оказалось сложное кожное заболевание. И Ханбабаев проникся уважением к Халыгбеку, подружился с ним, стал бывать в его доме, общаться также с Аллочкой и ее друзьями. Аждар Ханбабаев, как знают все, кто имел с ним дело, был простым, общительным человеком. Он бывал и на нашей даче, которая ему очень нравилась, участвовал в поэтических посиделках и даже оставался ночевать, несмотря на то, что спать ему приходилось на веранде.. Здесь он познакомился с Аллочкой и однажды пригласил ее работать в издательство.

В то время издательство Академии наук находилось в Черном городе, и она добиралась туда только на машине. Однажды домработница сидела впереди, рядом с водителем, а Аллочка – на заднем сиденье, рядом с сослуживицей. Дороги были не очень хорошие, в одном месте машина неожиданно подпрыгнула, и Аллочка, не удер-

жавшись, соскользнула с сиденья… Ее хрупкие ножки оказались сломаны, она испытывала ужасные боли.

Страшная весть о ее несчастье сразу облетела всех родных и близких. Халыгбек тут же пригласил лучшего бакинского хирурга Мурсала Караева.

Сын выдающегося педиатора, он был замечательным врачом. К тому же Мурсал муаллим работал вместе с Халыгбеком в больнице Семашко и вообще был близок к нашей семье, как и все Караевы. Он очень помог моей сестре. Мурсал муаллим в ту пору приходил почти каждый день проведать свою пациентку, поддержать, проверить состояние здоровья. Он тогда явился ее настоящим спасителем и смог вдохнуть в нее веру и надежду. Иногда он задерживался и общался с ее гостями.

Мурсал муаллим был старше всех в Аллином обществе, защитил кандидатскую диссертацию, и мы на него смотрели снизу вверх. Тем более, что он был из интеллигентнейшей караевской семьи, его старший брат уже был знаменитым композитором. А кроме того, мы знали, что Мурсал Караев еще и овеянный славой военный хирург, в наших глазах почти Андрей Болконский, который был тогда нашим любимым литературным героем: все мы были весьма восторженные девицы. Мурсал муаллим во время войны, только-только окончив мединститут, стал главврачом эшелона на Курской дуге, был ранен, награжден орденом.

Несмотря на все это, он держался очень просто, но все понимали, что это простота от интеллигентности. Так просто держали себя истинные интеллигенты и аристократы прошлого, о чем мы знали из книг и рассказов. Кроме того, он был интересный, обаятельный человек, и к тому же так хорош собой, что некоторые из нас даже были слегка влюблены в него.

Однажды Мурсал муаллим вошел в Аллочкин дом с таинственным видом и, широко улыбаясь, сказал: «Я принес вам райский напиток!» – он вытащил и показал всем бутылку рома, бывшего в те времена в Баку редким, экзотическим напитком. Ром, естественно, дружно распили.

Обычно Мурсал муаллим заходил сначала к Аллочке, где велись дружеские беседы, обсуждалось все самое животрепещущее, интересное. Сам Мурсал муаллим часто говорил об обстановке в тогдашних медицинских кругах, его расстраивало то, что начались поборы с родственников больных. Много говорили также о музыке. Аллочка была воспитана на классике, так как наш дядя Джафар нередко приносил сюда пластинки оперной музыки из своего собрания и устраивал прослушивания для ее гостей.

В один из таких вечеров, – это уже были шестидесятые годы, – когда присутствовали Джафар Мехтиевич и Мурсал муаллим, заговорили о том, что Карик переменил свой стиль. Он отошел от основанной на национальных мелодиях своей прекрасной оперной музыки и начал писать в модернистском стиле, близком Шостаковичу и Равелю. В то же время все отмечали, что стиль его остался неповторимо своим, очень своеобразным. Говорили о незабываемом впечатлении от его Скрипичного концерта, недавно исполненного в филармонии, и третьей симфонии. Восхищенно утверждали, что они стали достоянием мировой музыки. Кара Караев вышел на мировой уровень.

Всех это очень радовало еще и оттого, что все были привержены к настоящей, серьезной музыке, к эстраде относились с легким презрением.

Обычно с приходом профессора Мурсал муаллим переходил в гостиную, где пил чай с Халыгбеком, и они долго беседовали, делились медицинскими новостями.

Я тогда не предполагала, что Мурсал муаллим будет позже лечить и меня.

Надо несколько слов сказать о делах и успехах Аллочки. Она считалась одним из лучших редакторов в издательстве, где проработала до несчастного случая в машине десять лет. Но после этой травмы отец запретил ей ездить на работу. Она стала работать дома.

Ей приносили на редактуру научные работы домой, и это продолжалось еще пять лет. Редактируемые издания были довольно сложными, из различных отраслей науки. Ханбабаев, как я сказала, высоко ценил ее. Когда он принимал в издательство новых молодых работников, он прежде посылал их к Аллочке, будто бы помочь ей, а на самом деле – для того, чтобы она оценила их способности и сказала, стоит ли их принимать на работу. Так, и не выходя из дома, она чувствовала себя нужной, приносящей пользу.

Кстати, Аждар Ханбабаев впоследствии стал главным редактором художественного издательства «Язычи», а потом заместителем председателя Госкомитета по печати, и наш национальный лидер Гейдар Алиевич, который всем интересовался и во все вникал, высоко ценил его как работника и преданного его идеям человека.

Трагическая гибель Ханбабаева произвела на всех нас жуткое впечатление. Обстоятельства ее выразительно запечатлены в прекрасно написанной книге Исы Наджафова и Эльмиры Ахундовой «Смерть полиграфиста»…

Ни Аллочка, ни тем более Халыгбек не дожили до этого моментя.

После смерти родителей Аллочкина жизнь значительно усложнилась. Болезнь прогрессировала, и она уже не могла даже сидеть, а больше лежала, она перестала брать редакторскую работу, сосредоточив все усилия на том, чтобы выжить.

Уже не было в ее доме вкусных дымящихся пловов и гостеприимных приемов, но, тем не менее, ее продолжали окружать преданные люди и даже появлялись новые знакомые. Она никогда не оставалась одна. Украсила ее жизнь собака Джерри и молодой тренер Марик, который бескорыстно с ней занимался. Собака Джерри стала живой душой Аллочкиного дома, она стала любимицей ее друзей, ей даже посвящались стихи.

И Николай Хатунцев посвятил мне стихотворение, в котором восхвалял Джерри. Вот оно:

Отпечаток

Т. Д.

Как порою озадачит
Беглый взгляд, один момент.
Слабый оттиск лап собачьих
Здесь впечатался в цемент.

Джерри! Славная голубка!
Ты здесь бегала, резвясь.
Словно в памяти зарубку
Кто-то тронул, не спросясь.

Нет хозяев тех в помине,
И тебя, конечно, нет,
Почему ж так ранит ныне
Отпечаток давних лет?

Сколько их с тех пор промчалось!
Вихрем годы пронеслись,
Что со всеми нами сталось,
Знаем только мы и жизнь.

И трясло нас, как початок,
И мололо в жерновах,
Прежней жизни отпечаток
Чуть живет, и то – в словах.

Но слова не столь надежны,
Как железо и кирпич,
Так непросто в жизни сложной
Тихой пристани достичь.

Мельтешишь ты или киснешь,
Как вчерашнее вино,
Но в каком-то высшем смысле
Понимаешь все равно,

Что ты брошен в темном поле,
Что ты стар уже и слаб...
Вот зачем щемит до боли
Отпечаток этих лап.

Тут нельзя не вспомнить трогательное есенинское стихотворение о псе по имени Джим – «Собаке Качалова», которое, кстати, впервые было опубликовано в нашей газете «Бакинский рабочий»...

Ясно, что эти стихи Хатунцева не только о собаке, всеобщей любимице, но и об Аллочке, и о ее близких друзьях. Последние годы они окружали ее своим вниманием, но аллочкина жизнь, догоравшая рядом с ними, постепенно в их присутствии угасала, приближалась к концу. И когда он наступил, то все мы вместе горевали.

Ее жизнь была примером того, как физически немощный человек силой своего духа побеждает болезни, а в каком-то смысле и саму смерть, делится с окружающими душевным огнем, дарит им одну лишь красоту, оказывает помощь, приносит радость. Она, несмотря ни на что, оказалась достойной своих незаурядных предков, занимавшихся благотворительностью и помогавших людям.

ЭЛЬМИРА АЛИЕВА

Илису[1]

В изумрудном Рам-Раме[2] клубится дым,
Оседая слезинками на листве.
По сигналу несущейся вниз воды
Абрикосом по небу плывет рассвет.
Капли падают в озеро, духи снов
Наполняют прохладой его купель,
Ароматом цветочным наполнен зной,
И поет на восточный манер свирель.
Звонким эхом в горах льется птичья трель,
И равнина зеленым ковром лежит.
Илису – моя древняя колыбель,
Мои корни, истоки моей души.
Разреши прорасти сквозь тебя травой,
Разреши глубину твоих лет принять,
Сквозь тебя протекать ручейком, рекой.
И родиться в тебе разреши опять...

Моему городу

Я в сентябре снова буду дома,
но не удержат меня в квартире
ни уговорами, ни измором.
Я убегу к тебе, город милый,
добрый, родной и любимый самый.
Помнишь меня?..
Я чуть-чуть другая.
Мимо Пассажа, шаров-фонтанов,
в сквере Сабиру рукой махая,
я через Крепость пройду,
как раньше
(так до бульвара дойти скорее...)
Знаю: ты стал современнее, краше,
но ведь и я бодрюсь, как умею.
И до Азнефти дойдя проворно,
встану у моря церковной свечкой...
Я расскажу, прикрывая горло,
волнам, играющим бесконечно,
просьбу свою.
Мне немного надо,
чтоб улыбаться и быть счастливой.

[1] Селение в одном из регионов Азербайджана.
[2] Название водопада, расположенного рядом с селением.

Чтобы на завтрак в Бильгя[1] из сада
папа принес виноград и сливы;
чтобы, склонившись у изголовья,
мне по утрам улыбалась мама;
чтобы наполнился дом любовью
верных друзей и соседей славных.
Чтоб в Гарабахе над каждым домом
не разливался восход кровавый...
Чтоб я стояла, раскрыв ладони,
воздух каспийский вдыхая жадно,
и понимала, что в каждой ночи
есть зарождение жизни, света,
что – не случайно приходят строчки
и не случайна я в мире этом.

Колесо обозрения

Мой маленький остров-кабина летит в небеса,
парит над бульваром, колонией чаек и морем,
он больше не хочет быть частью того колеса,
где каждому острову дан лишь порядковый номер.

Дробятся минуты, и падает небо в него,
свернувшись в овчинку, лежит на ладонях устало;
под музыку вальсов, летящих в три такта шагов,
уснула каспийская даль голубым покрывалом.

Проходит полкруга... Бескрылость свою осознав,
мой маленький остров угрюмо спускается к морю;
он – часть колеса, турникетом закрытый анклав,
обрывок пространства, по кругу летящий со мною.

Две половины

Они как в ковчеге укрылись во мне,
Заполняя пространство бессмысленной злобой,
И не видно конца их гражданской войне,
А причину назвать затрудняются оба.

Невозможно им выплыть и выжить вдвоем;
Истребляя соперника, оба невинны.
Их конфликт постоянный, и ночью и днем,
Разделяет мне сердце на две половины.

Половина сильнейшая – властвует Он,
Не сдается Она на своей половине.
«Жребий брошен!..»
Уже перейден Рубикон,
Строят стену китайскую посередине.

[1] Один из дачных пригородов Баку

Научи меня, Господи, что им сказать,
Чтобы Он и Она стали плотью единой,
Чтобы слышать смешные их песни опять,
Чтобы стать мне по-прежнему неуязвимой.

Я не знаю, куда эти двое плывут,
Каждый день выпуская в мир
горлицу-душу.
Может, земли сакральные где-то найдут –
Ты тогда отпусти их, несчастных, наружу...

Остановилось время

остановилось время... снегопад
украсил город белой пелериной.
без надобности бродишь, наугад:
пространство комнаты невыносимо.

у неба цвет игристого вина,
разлитого на горы взбитых сливок.
замерзший город пьет его до дна
и наполняется незримой силой.

в потоке слов ты мысленно паришь,
в толпе внимания не привлекая,
вдруг поднимаешься
над блеском крыш...
и тишина огромная такая,

что не понять: внутри тебя она
или объяла облаком снаружи.
дыханием своим полутона
молчания не можешь ты нарушить.

и кажется, ты к матери приник,
как в детстве,
пряча нежности телячьи...
и хочется заплакать в этот миг,
и хочется смотреть на мир иначе.

Возвращайся

Возвращается всё.
Потому что судьба наша – маятник,
Квинтэссенция мыслей, абсурд.
Только я не о том.
На изнанке приморского города
прячется маленький,
Обветшалый снаружи,
унылый родительский дом.

Черноглазый подъезд
и скамейка под старыми вязами.
Заскорузлый орешник согнулся,
коряв и дуплист.
Пуповиной невидимой
вы с этим домом завязаны.
Но и с дерева ветром
уносится парусник-лист.

Дом тебя отпустил полетать,
порезвиться на воздухе,
Погулять по иным городам,
берегам и мирам.
Ты беспечно умчался,
набегался вволю, без роздыху,
И не слышишь опасливый голос:
«Мой мальчик, пора!..»

Возвращайся домой.
Никогда не услышишь бездоннее
Придыхания синей лагуны.
И вновь пригуби
Ее воздух, коснись
камня дома родного ладонями…
И люби его, мальчик, прошу тебя.
Просто люби.

АРИФ ГУСЕЙНОВ

Калейдоскоп времени

Праздник для неимущих

На празднике весны старая нищенка в отрепьях взывала к улице: «Ну, подайте же кто-нибудь хотя бы 100 манатов, ведь сегодня, кажется, не на шутку праздник!» И один мужчина, в общем-то молодой и, скорее, занятый делами, отвечал ей так: «Ей-богу же, нет у меня ни гроша!». Но он, видимо, не понимал, что же он говорил такое, потому что напротив него стояла та, у которой и в самом деле не было ни гроша!

Я прошёл мимо этой картины очевидного неравенства. Но потом, вытащив из кармана деньги и найдя в них 100 манатов, вернулся и отдал их вопрошавшей о подаянии нищенке. Она благодарила меня, но без того пафоса, который я ждал; приняла 100 манатов как малую мзду за обращение к праздничной толпе, скромно одарив пониженной интонацией голоса и тут же утратив ко мне интерес и снова готовясь взывать к улице, на которой назревал праздник, о причитающихся ей, ну, самое малость, хотя бы 100 манатах в сегодняшнем всеобщем развлечении.

* * *

Следующим был небольшого роста спившийся мужчина. Он изображал регулировщика, стоя почти что на ходу машин и делая им знаки, куда кому ехать. На самом же деле знаки эти служили приёмами особого танца, и когда он чувствовал, что раздражал кого-то из водителей, то, сделав в его сторону выразительный наклон, бубнил: «С праздником!». Толпа свободных мужчин, собравшихся у прилавков открывшихся магазинов, наблюдала за этим импровизированным спектаклем. Танцуя, пока ещё трезвый, пьяница пересёк наискосок улицу и поздравил тех из них, кто не сводил глаз с его шутовских трюков.

Меня же поражало разительное несоответствие облика весёлого пьяницы с окружавшей его обстановкой и особенно тот радостный настрой, который, казалось бы, не имел в будущем предела, в отличие от него, находящегося на пределе своих физических сил. Поражало, что он вообще был способен стоять на ногах, будучи изъеден алкоголем и сопутствующими тому недугами, а не то, чтобы ходить да ещё по временам и подпрыгивать, изображая на глазах у проснувшихся зевак жизнеутверждающий танец уличного регулировщика. Несмотря на то, что он был на исходе физических возможностей, затеи его не имели границ, и он, казалось бы, от души любил всех тех, кто находился рядом с ним на этой весенней улице: и водителей автомобилей, которых он без злости дурачил своими импровизированными шутками, и зевак, столпившихся около прилавков магазинов, которых он приветствовал добродушной улыбкой, и, пожалуй, что и всех остальных. Как будто он вышел сюда, чтобы всех повеселить; чтобы стать центром зарождавшегося на перекрёстке двух ничем не примечательных улиц весеннего праздника.

Я пересёк эту улицу, чтобы взглянуть на него, и он, перехватив мой взгляд, бросил радостно: «С праздником, родной!» И я исполнился любовью к этому маленькому человечку, который жил в это время своим благосклонным окружением…

* * *

Третий представитель этой же братии был гораздо угрюмее первых двух. На голове у него красовался колпак из тёплой мягкой ткани, вроде шерстяной, чем-то напоминавшей даже больничную повязку. Он был давно небрит, и щетина на его лице походила на жалкий отряд новобранцев, брошенных в первый же бой с неравным противником; каждая иголочка на этой щетине топорщилась от ужаса предстоящей-бойни. А глаза его были двумя опытными воинами, ведущими за собой незрелую молодёжь. Они смотрели вперёд напряжённо, но безрадостно и неподвижно. Это были просто две впадины, глядящие вперёд, но ничего там не видящие. Он и сам, казалось бы, шёл на какое-то грозное дело, которое в то же время не сулило ему ничего хорошего. Но тогда зачем же с такой неоправданной самоотверженностью он всё-таки на него шёл? А что же оставалось кроме того делать, как только разлагаться в собственном необустройстве и бессилии? Поэтому-то он так решительно и шёл вперёд именно в сегодняшний день, когда вокруг него кипел такой праздник; он должен был именно теперь дойти до самого его конца. Пусть сегодня празднуют другие, все, кроме него. Он всё равно дойдёт до самого конца, чего бы это ему ни стоило; до конца этой вонючей пустоты, которая вконец измотала его, превратив тем самым в жалкое посмешище беспечной детворы. Сейчас или никогда он должен был изведать ужас всех семи кругов ада, чтобы оказаться перед вратами страшного суда и вопросить восседавшего там судью, за какие же такие грехи он приговорил его всю жизнь сражаться с самым мерзким из всех врагов человечества – безликой пустотой! Ведь у него уже совсем отсыхают ноги, и невыносимо ломит в ключицах. А он так и не увидел ни конца, ни края того, с чем он сражался всю свою жизнь, той воздушной пустоты, которая, тем не менее, вдосталь проникла в него, превратив его тем самым в себя, сделав из него своё же собственное подобие. Ведь никто более на земле не замечает его, что бы он ни делал, во что бы ни рядился, как будто его здесь просто-напросто нет. Он и сам иногда стал уже сомневаться в том, что он на самом-то деле существует, так как ни в чём не проявлялось его нынешнее бытиё. Даже нет зеркала, чтобы порой хоть поглядеть на себя. Иногда, правда, он видит своё отражение в окнах или витринах магазинов; но кто может поручиться, что это разнаряженное чучело, которое видится ему при этом, и есть он сам. Может быть, на самом-то деле он совсем, совсем другой, если только он вообще-то здесь есть. Вот потому-то он и снарядился сегодня с самого праздничного утра в свой дальний путь, чтобы спросить об этом всевышнего. Он-то, наверное, доподлинно знает, есть он тут или его нет. Только бы дойти до края той поганой пустоты, которая до последнего извела его уже. Если сегодня ему удастся её победить, то всё, наконец, прояснится и опять встанет на свои исконные места. Но впереди ещё весьма серьёзная схватка, в которой ему во что бы то ни стало необходимо будет сегодня же достойно выстоять. Вот сейчас, когда он дойдёт до конца того перекрёстка и свернёт оттуда сразу же направо, он помнит, там и находится её логово… Вот там-то и начнётся то самое отчаянное сражение; быть может, даже одно из самых главных в его жизни…

* * *

Была среди них и нищенка, которая, сильно сгорбившись и неся в одной руке какую-то невыносимо заляпанную сумку, безмолвно пересекала уже грязную вечернюю улицу, как бы понимая, что этот праздник, увы, конечно же, не для неё, и что она уже больше никогда никого не заинтересует. Она так и будет и впредь слоняться по ночным пустынным улицам, как бесплотный призрак самоё себя. Неужели же когда-нибудь она и впрямь чего-то уж хотела или могла бы кого-нибудь хоть чем-то заинтересовать? Если это и было когда-то, то, вероятно, уж очень и очень давно, когда она могла хотя бы немного чувствовать свою плоть, когда ещё кто-то мог бы хоть немного почувствовать её. А теперь она вся целиком свернулась наподобие улитки, только однако же не назад, а вперёд, чтобы ей легче было донести свою тяжёлую поклажу и не видеть при этом ничего, кроме того, что лежало у неё прямо под ногами. Вот так-то лучше. Она и её поклажа – это неразрывный союз, которую она благодаря этому донесёт до самого своего дома. И уже там вытащит содержимое своей ноши, чтобы повнимательней рассмотреть, ведь это уже как бы содержимое её самой. Она будет медленно перебирать всё то, что извлечёт из своей сумы, ведя с каждой найденной ею вещицей отдельный разговор и смутно понимая, что это единственное, что её привязывает к земле. Такого наслаждения она ещё никогда не знала раньше; наслаждение обладания тем, что уже больше никому не нужно. Она найдёт всему этому какое-нибудь, хоть малое применение, показав тем, кто всё это выбросил, что они просто не понимают цены вещам, поскольку же на самом деле эти вещи бесценны! И эта сломанная склянка, куда она приспособит огрызок свечи, и кусок тряпки, который она приторочит к кухонной скатёрке, составленной из таких же точно лоскутков, и заплесневевшая корочка хлеба, которую она утром размочит и раздаст уличным воробьям. Те уже знают её, как и окрестные коты, которые всякий раз сбегаются в урочный час, как только она выходит из дома. Всё это отныне её мир. И кто это сказал, что он как будто бы хуже, чем предыдущий, в котором было больше движения, чем ума. Вот и праздники тоже проходят больше в движении, но почти что без малой крупицы ума. Всё суетятся люди вокруг, не понимая, однако, что рано или поздно им придётся вернуться к окружающим птичкам и котам, потому что нет ведь друзей вернее их. И чем раньше это произойдёт, тем, пожалуй, будет и лучше. Если бы только они понимали красоту битых склянок, как, например, отражается свет от их незаметных трещин, что и говорить! Мир был бы куда как богаче! А то всё гонятся и гонятся люди за новыми вещами в блестящих, склеенных упаковках, не думая уж о том, что, в конце-то концов, вещи эти, хотя бы пускай и частично, перейдут к ним. Потому что они-то и есть их настоящие ценители, а не те, кто проносится мимо них каждый божий день на высоких каблуках…

Призрачная прогулка

Я видел пару; пожилую женщину и молодого, высокого и как будто сохранившего в себе прежнюю осанку мужчину. И когда я стал их обгонять, чтобы разглядеть, то заметил, что он и не молод, и не столь здоров, как мог бы показаться вначале, а осанка его – нарядная оболочка, в которой он пока что пребывал. Но профиль его, тем не менее, мне нравился – это был профиль уставшего человека. И еще мне нравилось, что он молчал, когда пожилая и близкая ему до невероятности женщина

спросила: «А почему ты не сказал, что у тебя тоже грыжа? Что, разве не мог?» А он молчал, потому что, кажется, уже понимал, что она, увы, как и прежде, всегда была права. Да, верно, у него была и всё еще оставалась грыжа. А тогда он молчал, потому что неловко казалось ему спекулировать своим же здоровьем.

И этим он и нравился мне, потому что человек с таким замечательным профилем больше не мог уже лгать.

* * *

Проходя по бульвару, неожиданно встретил ярко-желтую прядь волос молодой женщины, стекающих волнами с её головы к талии. И необычный поворот её головы перенес меня в совершенно забытые складки моей памяти, где я с трепетом нашел свой сон не известной мне ныне давности. Ведь время снов – это субъективный отсчет времени наподобие мягких часов Сальвадора Дали. В этом сне я вместе со своим ближайшим другом знакомился с тремя молодыми женщинами. Я помню характер каждой из них, как и свое желание приблизиться к ним. Но они, кажется, отдают предпочтение моему внешне более благополучному другу, хотя и не идут дальше этого, то есть, разумеется, не отдаются ему полностью. Но одна из этих женщин, умная брюнетка, – я почти что уверен в этом – скорее всего благоволит мне. И это сознание моей победы приятной негой разливается во мне, препятствуя тем самым на деле одержать победу. Мне кажется даже, что мой друг более моего преуспевает в этом. Он кажется со стороны вполне счастливым и пребывающим в завидном ладу со всеми тремя красавицами. Я просыпаюсь со смесью противоречивых чувств: с надеждой, украшенной пестрым хвостом разочарования. Увы, мне было там так хорошо! Мне так не достает тех ощущений давно выпавшего из моей памяти сна.

Когда я поравнялся с молодой женщиной, огненная прядь которой оказалась столь плодотворной, что легко перебросила меня в один из забытых мною снов, я заметил, что лицо её совсем не гармонирует с нею; и случайно ли оно было до сих пор скрыто от меня её великолепным затылком? Если бы я чуть раньше увидел его, оно, вероятно, не позволило бы мне так вольно перелететь в прошлое, потому что лицо казалось теперь лишь скромным балластом к этой прическе. Хорошо, однако, что я так скоро вернулся со своего мысленного путешествия и мог теперь спокойно разглядывать его, чем бы оно мне теперь ни казалось! Она беседовала со своим парнем, легкомысленно кокетничая с ним. Но он не видел, как ни парадоксально, ни ее пряди, ни того, во что превращалась она в момент необычного наклона своей головы! Но, кажется, он был доволен и тем, что он все время перед собой видел, и это было особенно поразительно. Поразительным казалось, что он мог довольствоваться столь малым; ведь самое главное оставалось вне поля его зрения: ее пышная прядь, в которой путались мои забытые давно сны!

Фотограф

Я часто встречаю фотографа на бульваре. И о нём, хотя я чувствовал много, но сказать мог мало, пока не встретил его за едой в кустах. Он прятался от прохожих и заглатывал пищу, как орёл куропатку или пеликан жабу, порывистыми движениями шеи и головы заглатывая, что держал в руках – пирожок или мясо, завёрнутое в хлебный мякиш, – в себя, через глотку, и туда, дальше, где оно грело желудок!

И в этом поедании пирожка или мякиша с мясом он проявлялся как человек, чьи интимные процессы были скрыты от всех и чья жизнь была забита столь глубоко в себя, что на виду оставался лишь фотограф, щупленький и неприглядный, который способен был щёлкать затвором фотоаппарата. Он быстро щёлкал, и появлялись снимки, всего за две минуты, где была запечатлена жизнь посторонних людей. А его жизнь? Кого она интересовала, если не интересовала и его? Поэтому он так и ел, спрятавшись в кустах, чтобы никто не заподозрил его в привязанности к себе, что его личная жизнь увлекала его больше, чем жизнь тех, кого он переносил на плёнку, чтобы заработать на хлеб с мясом, который он потом ел, забившись в кусты…

Встреча

К концу моей прогулки встретился взглядом со стоящей на улице девушкой и поймал её взгляд на себе. Нет, не изучающий, а оценивающий. Она была в коротких шортах и весьма притягивала меня, оценивая, причём её оценка была завышена. Кем я был в её оценке? Не знаю... Но вряд ли собой, ведь я столь неинтересен для таких, в коротких шортах, девушек… Им интересны парни с железными ляжками и упругими вихрами, хотя о чём они могут с ними говорить, я не мог себе никогда представить… Как они сходятся и расходятся? Только ли физически, через касания и механическое вхождение и разведение, а слова – пустой для них звук, но есть арифметика сжатий и разжатий, счёт наклонов и прогибов? Ведь я тоже не люблю слова, когда они затмевают физиологию, но люблю единоборство взглядов и симбиоз касаний…

Но в её оценке я был другой… Я хотел поймать проекцию свою, возникшую от её взгляда. Что она сделала из меня, проецируя в новую область пространства? Кем я был в её взгляде?... Сколько мне было там лет?... Она сделала меня героем минутного романа, но не выдавала секретов своих; губы её были плотно сомкнуты… Красноречивы были только взгляд и короткие шорты … И ещё, что стояла она у ступеней лестницы, ведущей в ночной подвальный клуб. Там у неё будет достаточно времени сочинить другой роман. Мне же, пока не раздвоился, надо скорей уносить ноги. До проекции моей в ту область пространства, куда был направлен её взгляд, было, ой, как ещё далеко…

Картина

Видел на улице мужчину, глядящего со своего крыльца в небо. Он был здоров и спокоен, то есть лицо его не выражало никакого счастья, хотя счастьем было сидеть в завидном возрасте, полным сил, и глядеть в безоблачное небо. И я думал, вряд ли он вспомнит когда-нибудь в будущем этот вечер, когда он мог так беспечно глядеть со своего крыльца в небо. Хотя в далёком будущем все вечера, подобные этому, сольются для него в одно невыразимое состояние, которое он испытал в прошлом. И ещё я думал, он, конечно же, не вспомнит об этом вечере, слившемся с подобными вечерами в прошлом в одно состояние, осенявшее его когда-то.

Но я-то не забуду этот вечер, когда я поймал взгляд сидящего на крыльце человека, обращённый в догорающее небо. Нет, я, конечно, не забуду ни этот взгляд, ни представшую мне картину. То есть во мне останется знание о его жизни, которое он утратит навсегда. И что, я буду знать его тогда больше, чем он себя?

Взгляд

Я встретил на улице обращённый ко мне взгляд женщины, которую поглощала ночная тьма; но взгляд её сверкал из тьмы и был островком света в ночи. И когда я разглядел её лицо, то заметил в ней смысл, которого была лишена тьма, старающаяся её поглотить. И я думал, что смыслом этим она противостояла безбрежности тьмы. И хотя тьма была дальше и глубже неё, но лишена была смысла, оставленного на светлом островке лица этой женщины, прошедшей мимо меня. Я обернулся и увидел её высокую фигуру, в которой был иной смысл, фрактальный, способность повторения себя в окружающих зеркалах и будущем…

Осень

Вчера на даче у Таира, стоя под фруктовым деревом – вишнёвым, кажется, – я думал, как много здесь жизни, на земле: и муравьи, и колеблющиеся тени деревьев и листьев, и пустые раковины улиток, убитых хозяином, – он считал их вредителями, – и паутина над низкими кочками, и земля, и всё, что под ней, – это необозримо.

А Таир рассказывал, как бы отвечая моим мыслям, что облачко, что плывёт сейчас по небу, – вестник осени. Потому что, равняясь по нему, взлетают на выпущенных парашютах паучки, несомые на юг осенним ветром. И он любуется уносимым вдаль их облачком.

А я, гуляя на прогулке и смотря на сидящие на скамейках пары, думал, мы несёмся, уносимые этим ветром в осень. И никто здесь не останется, в этом душном лете, что предшествовало наступившей осени.

А идя по улице, думал, что смерть, конечно же, заберёт нас всех, но как она это сделает, интересно. Так что, будет ли она завершающим аккордом жизни, без которого невозможна вся композиция, или обрывом её, не имеющим к ней отношения? Короче, враждебна ли смерть жизни или она её заключительный этап? Но ответ я чувствовал в ногах: жизнь, которая оставалась в конечностях моего тела.

И ещё я думал, глядя в освещённые окна кафе и ресторанов, о разлитой там тоске, что в тоскующих лицах посетителей блуждали тени от предыдущей тоски, сманившей их туда. И что за венком, сплетённым из прежней и нынешней тоски, не были, увы, видны их лица. Что они через нынешнюю тоску уходили в глубь предыдущей, и слова их были эхом прошлого, как осенние листья, кружащиеся перед ними. Всё это было снимком мгновения, исчезнувшим в сумраке минувшей ночи...

Проект

Ночью видел разные сны и чувствовал себя в них частично расширившимся. И в этом состоянии думал о новом рассказе, как напишу, назвавшись по-другому и как бы заглянув в себя со стороны. И начну его с того, что герой рассказа почувствовал себя вдруг плохо, как бы в центре своего возраста и в преддверии смерти. И что он в таком состоянии входит в книжный магазин, случайно набредая на книгу бывшего преподавателя.

«Он и в то время был толков, – думает он, вспоминая слова однокурсников, внимательных к лекциям. – И вон как теперь вознёсся. И старость ему не помеха взлететь на завидный уровень, книга хорошо оформлена и пестрит формулами. А что

я сам – проколебался всю жизнь между наукой и литературой, не отдав ни одной из этих областей деятельности предпочтения. Лишь малые колебания с большой частотой, казавшиеся со стороны топтанием на месте».

Потом он посетил галерею молодых художников и поразился, что дети его друзей, которые были молоды, могли выражать свои чувства так смело и интересно.

«Даже они превзошли меня или превзойдут», – думал он.

Потом он вспомнил смерть друга, художника, с которым они вместе пили…

И в этом состоянии, путаясь в снах и будущем рассказе, он пошёл на занятие, где был осмеян студентами, они не хотели его слушать; был дождь, и они обсыхали. И он думал, нет горше участи преподавателя, когда каждый из слушателей аудитории не лишён права смеяться над ним. Пришёл он домой с этим чувством обиды. И тут к нему позвонил племянник и сказал, что редактор журнала умер, сразив его. Ведь он на него надеялся, когда удавалось что-то печатать. А теперь его нет. Он удалялся от редакторского стола и продолжал удаляться без всякой надежды на попятный ход. Только вперёд, к безоблачной синеве… Он мог бы спорить, что никогда ещё в жизни и даже вчера ещё утром покойный не мог бы вообразить такого движения или полёта в одном направлении, отдалявшего его от рабочего стола, который был ему столь родным, что он пил за ним вместе с сотрудниками – то был их домашний стол, а редакция домом, и они были в ней одной семьёй. А теперь он пустился в полёт, не бессмысленно ли? Но, может быть, не было смысла и в прежней жизни, а теперь он отыскался в этом полёте… Бог знает… Но его смешил этот полёт, который никогда бы он не мог себе представить, и рассмеялся, если бы кто-нибудь, предсказав его судьбу, намекнул… то есть, что он никогда не вернётся в редакцию, не будет править рукописи и размещать их в избранном порядке в номере… Все не просмотренные рукописи не дождутся, чтобы принять тот вид, который он мог им придать, прежде чем пустить в номер. Нет, они так и останутся без изысканной косметики, появлявшейся, когда он вносил в них свои редакторские правки. Что будет с его рабочим столом, стульями и бумагами? Кто-нибудь знает? Но самое удивительное, что это не волновало того, кому принадлежало и кто, казалось, был заинтересован в их судьбе. Нет, его это не волновало, он виражировал в пространстве, где не было ни столов, ни стульев, ни редакторов, толстых или тонких журналов и где все, кто там был, заняты были фигурами высшего пилотажа…

На его похоронах был А., председатель Союза писателей, М., писатель, Н. и другие коллеги и сотрудники. Один рассказывал другому, как он прочёл роман какого-то писателя… «Он талантлив, – заключил он и добавил, – очень талантлив, пишет только романы, последний из могикан!» Вот как он характеризовал его, интересно, что это? Я не сомневался, что он хорошо пишет. Будь я моложе, думал бы, что за ерунда, о чём они говорят? Кто у нас может писать так хорошо, чтобы его можно было сравнить с Толстым. А теперь я знаю, что существует множество мерок для измерения степеней таланта, от явных до едва заметных… И, если мы говорим, он талантлив или, если кто-то это говорит, значит подобрали подходящую мерку с мелкими делениями и измерили талант, не поленились это сделать, бросив как молодёжь, знаем такой талант, ну его, что легче сделать! Но потом, бредя по пустыне жизни, понимаешь, и небольшой талант встречается не часто. И измеряешь, сопоставляешь… А еще был такой случай. В другом месте говорили, как один пришёл в писательскую компанию и ему налили полный стакан водки… А потом ветер унёс остатки их разговора.

Мы же с Бебой обсуждали, как у нас болят суставы и как их можно лечить. «Корица, имбирь и мускатный орех, – говорила Беба, – повышают иммунитет и снимают боли». «Он болел?» – спросил я. Беба была его родственницей. «Вчера Элик разговаривал с ним – тот, что слепой и пел в хоре, – и он сказал, что чувствует себя лучше, так что Элик не мог поверить, что он умер». «Ведь я вчера с ним говорил»... «Ну, и что, а он взял и умер сегодня, вернее, вчера. Элик говорил с ним утром, а после обеда он умер». «Это хорошо, – заметил я, – он не мучился». А вот Гена, первый муж Бебы, мучился три дня, а потом умер. «Нехорошую он прожил жизнь», – заметила Беба. «Но он говорил, что жил, как хотел», – ответил я. «Ведь он не видел ничего другого. Ему нужны были только краски и кисть. А как жить и где, это имело мало значения», – призналась Беба...

Но тот собеседник, что говорил про неизвестного писателя «последний из могикан», добавил, что сейчас это никому не нужно. И ещё раз он повторил, что он очень талантлив и продолжает писать романы, хотя это никому и не нужно. Но отрицал ли он тем самым и талант этого писателя, признавая, что он никому не нужен? Показала ль в нём себя зависть или он сетовал на судьбу, присоединившись мысленно к тому, кто теперь уже никому не нужен? Скорей всего, и то, и другое, колебания между первым и вторым.

Эти колебания, насколько помню, мало учитывались в литературе; эти неопределённости, когда происходят колебания между двумя или несколькими мнениями, что отличает это состояние от неопределённости. Ведь это жизнь, колебания между решениями, а не выбор одного из них и определённая жизнь. Колебания между решениями и жизнь как бы вскользь, между понятиями, как во сне... И не исключено, что счастливая или, во всяком случае, лазурная, безоблачная, хотя бы потому, что не поддаётся определениям. Может быть, большинство людей, особенно современников, так и живут. И поэтому мы их не понимаем, одни не ложатся в схемы готовых определений, а другие выходят из них. Когда существует множественность решений, не всегда то, что предлагается, лучшее, по крайней мере, для нас. И можно искать другое, а потом следующее и т.д.; и провести жизнь в переборе вариантов, ведь это тоже жизнь, новая форма жизни с печатью цивилизации. И тогда перебор вариантов становится реальней самих вариантов, и жизнь переносится как бы в виртуальную сферу, хотя возможности её могут повышаться, ведь учёные тоже живут в виртуальном мире, как и актёры, драматурги и вообще люди творчества.

Так же можно полюбить и не любить и быть равнодушным одновременно, как бы перебирая эти варианты в себе. И перебор вариантов – другое состояние, возможно, особого наслаждения души, сродни творчеству...

Когда я был на похоронах и видел писателей, думал, они не внушали благоговения, потому что всё, что они сделали, находилось в прошлом, но не в столь дальнем, чтобы быть оцененным. Сами же они были в настоящем и беспомощны – они не могли воскресить коллегу и даже не понимали, как о нём скорбеть. Ведь они тоже его помнили в прошлом, недавнем, правда, а теперь он исчез! А они пили чай и беседовали, как бы отдавая дань памяти коллеге. Но на чёрта была нужна эта дань. «Вы отдаёте её себе», – как бы говорил он, покойный, откуда-то (сверху или снизу)!

Так что они встретились, чтобы увидеть друг друга и поговорить, скорей всего, о пустяках, ведь они тоже пустышки, плывущие на поверхности у жизни.

Даже творения великих, к примеру, Шекспира, не внушают благоговения, если расчленить их на части, ведь они состоят из того, что всем известно, но соединено

неповторимым способом. «Звенит всё то, что пусто изнутри!» – подумаешь, будто этого не знали. Но как сказано, лаконично и точно. Вот эта архитектоника и поражает. Но разделите её на части, и всё будет известно. И нечему будет поражаться. В чём «Гамлет»? Месть, жалость, насмешка. Но это же всем известно. И, стало быть, ни в чём! Так всё великое граничит ни с чем, пустотой… А глупое выглядит величественно.

В клубе

Был в клубе художников, смотрел документальный фильм нашего режиссёра, а потом сидел во время обсуждения этого фильма, когда одни говорили, что у него есть совесть, когда другие говорили, что можно было бы копнуть и глубже, когда говорили третьи, что нет у нас проблем и что не было их и в фильме, в котором они не увидели ничего, когда я сидел, и во мне происходило колебание всех этих мнений, так кто же я на самом деле? И я встал и якобы определился, сказав, что проблемы и у нас есть, и видел их молодой режиссёр, и в чём они заключались, на мой взгляд, я тоже указал, но что можно было бы, конечно, показать и глубже, чтобы они были понятны и другим, например, иностранцам… А потом сел, заметив, что в начале моего выступления меня слушали, затаив дыхание, – а что я говорил, только определялся, а в конце режиссёр болтал с кем-то, хотя мне казалось, что говорил я для него; молодая дама, которую я привёл в пример как выступающую, не слушала, переговариваясь с интересными собеседниками… И у меня мелькнула мысль, что не надо было так самоопределяться здесь при всех; но иначе я тоже не смог бы, и остался бы неудовлетворён, хотя теперь тоже не был удовлетворён ничуть и сожалел, что не смолчал или не выступил с большей ясностью, тогда бы увидели меня в естестве…

А потом, возвращаясь по ночным улицам и думая об этом, встретил Нату, которая, чувствовалось, не хотела расставаться, и она призналась в этом, неужели общаться с такими – и она посмотрела по сторонам на проходящих людей. Нет, с этими, конечно же, не стоило, что и я разделял, общаться. Но тогда зачем же не предложил себя, а кокетничал жеманно, чувствуя на себе её взгляд, и как она изучала меня, вплоть до мелких деталей одежды… А я стоял, наслаждаясь, но не делая ни малейших вылазок в её сторону, и даже, когда она в последний раз хотела коснуться меня ладонью, ушёл, расставаясь настолько, что она не дотянулась, и рука её забрала ночной воздух, ожидая на прощание унести касание в меня … Почему же я ничего не сделал и ушёл, хотя мог бы подойти ближе и обнять её, к примеру, чтобы она лучше меня чувствовала, и я лучше почувствовал её? Потому что не хотел являться в таком качестве, которое, по-моему, не было мне свойственно … Я не был таким, хотя и было бы это приятно, вот в чём загвоздка … Я хотел быть с ней, но тогда был бы не я. Надо было выйти из своих тисков, чтобы подойти к ней. Но я привык в них находиться и поэтому не подошёл, с трудом говорил слова, которые отдалённо напоминали нужные, и кружился без конца вокруг да около, как баба, которую хлебом не корми, дай только судачить… И поэтому, когда отошёл, было приятно, что вызвал в ней интерес и возбудил, но что был я, не мог понять… Я не сделал ничего, наблюдая за ней. Меня осаждало здоровье – простатит, проклятый! – допустим, и мой возраст; но обо всём она уже знала …или догадывалась… И я ушёл, оставаясь в себе; я не хотел выносить на обозрение ни своё здоровье, ни возраст, пожалуй, что так… Может быть, поэтому и ушёл, хотя кто знает?...

Казим

Приходил Казим. Он шёл на ночное дежурство в Сумгаит. Там он присматривал за работниками на мельнице во время ночной работы. В сетке у него были дорогая водка и ужасные черешни, почти несъедобные; вид у них был, как будто их собрали на проезжей дороге. Мила (сестра) их вымыла и положила на стол. Они были безвкусные.

– Это мне на 3 дня, – сказал он про водку. – Я пью понемногу.

– А когда пьёшь, то вместе с ними? – спросил я, намекая на работников.

– Что ты, им нельзя пить. Меня и приставили к ним, чтобы следить за тем, чтобы не пили.

– И поэтому ты пьёшь, чтобы им не досталось? – спросил я.

– Да нет, что ты! Я пью, чтобы они не видели, в своей комнатке. А то у них опасная работа; могут получить и травму, а тем более выпив.

– А я думал, ты пьёшь на виду у них. Мол, ваше здоровье, приоткрыв дверь, обращаешься к ним, чтобы не скучали.

– Нет, – усмехнулся он. – Их здоровье в абсолютной трезвости, а не в пожеланиях выпившего надсмотрщика.

– И много там платят? – поинтересовался я.

– Да нет, не особенно. Всего 300 манатов. Брат предложил эту работу на своём предприятии. А мне тогда туго пришлось с клиентами, исчезли. И я испугался. Как мне содержать семью? Клиенты, конечно, были, но уж совсем впритык. Ну, подумал, а что, если пошутишь, и эти исчезнут? И решил, чтобы спокойней было, согласиться на эту работу. Вот и присматриваю за своими верхолазами на мельнице с 11 часов вечера и до 8-ми утра.

– Смотри, не засни на дороге, а то глаза у тебя слипаются, – сказал я на прощание. – А как Кямаля (жена), – спросил я, – уже ходит на работу?

– Инсульт ведь не лечится, – ответил он. – Слава богу, что может налить себе чаю и сходить в туалет. А так, по дому только и ходит. И на том спасибо!

Глаза у него были воспалённые. И вид уставший. Как будто он хотел спать.

– И ты там не спишь, на работе? – спросил я.

– Брат сказал: всё равно ты не спишь по ночам, так хотя бы присматривай за моими работниками на мельнице. Вот я и присматриваю за ними. А так, ложусь не раньше 3-х часов ночи.

– А когда встаёшь?

– В 10 часов утра.

– Ну, что ж, смотри, высыпайся. А то невзначай как-нибудь ещё заснёшь на дороге в своей машине. Пей кофе, чтобы избежать этого.

– Я и взял с собой кофе, – он показал несколько удлинённых пакетиков с разовой порцией, лежащих вместе с водкой и черешнями в сетке.

Поскольку он пришёл, чтобы общаться, он рассказал, как попал в ваххабитскую мечеть.

– Я был пьян тогда. Одна старушка позвонила и пожаловалась на дискомфорт в зубах. Ну, думаю, надо ей помочь, хотя денег от неё не жди. Да бог с ней! Делов-то там, что подпилить какой-нибудь зуб. Ну, и взял я свои инструменты, направляясь к ней. А до этого, не поверишь, выпил пол-литровую бутылку водки. А по пути к ней набредаю на эту мечеть, ваххабитскую. Я заметил, ваххабиты – особый народ. Они молятся, сомкнувшись плотными рядами, так что со стороны кажется, что весь

ряд молится, как один человек. И сознание человека под действием такого способа молитвы меняется. Сам человек меняется, посещая регулярно такую мечеть. Рагиб, наш друг, после того, как стал посещать эту мечеть, заметно изменился. Что-то с ним произошло. Они все становятся как бы несгибаемы и сгибаемы одновременно, как и позы молитвы, которую они совершают. Они принимают беды как должное, ниспосланное свыше испытание. Ну вот и я оказался в их рядах, совершенно пьяный. А тут освободилось место в одном из передних рядов. И тут один из ваххабитов, чтобы заполнить это место, приглашает меня туда. А от меня разит, как из спиртной бочки. Потом второй указывает на освободившееся место. И тут уже деваться некуда, занимаю его и стараюсь не дышать, чтобы не выпускать изо рта угара, собравшегося там. И молюсь, молюсь, как они, как весь ряд. И вдруг замечаю…

– … что и они все пьяны, – вставляю я.

– Да нет, – усмехнулся он, – что трезвею. Так что вышел из мечети совершенно трезвый. Вот что делает с человеком коллективное сознание! Я горд тем, – продолжал он, – что вовремя обрёл, переняв у отца, профессию зубного техника, не в пример специальности физика, полученной в университете. Мои коллеги маются теперь в научно-исследовательских институтах, где требуется, чтобы они сидели на своих рабочих местах, как наседки на яйцах. Только их сидение – моих коллег – не закончится, не в пример наседкам, выводком! Я и говорю им, чем сидеть, ничего не делая, пойдём, попьём чай. А они, нас могут застукать. Там порядок такой. Приходит директорская комиссия в какую-нибудь лабораторию, чтобы проверить, все ли на своих местах. И выясняется, что такой-то пошёл в туалет. Если трижды при проверке его не будет на месте, отчисляют. Поэтому и сидят они, как наседки на яйцах! А в конце года пишут отчёты о непроделанной работе. Ведь там у них нет ничего, никаких приборов; институт их не покупает за неимением в бюджете денег. Так что, если и захочешь, не сделаешь ничего, даже цыплят! А если что другое задумаешь, застукают, то есть отсутствие твоё на рабочем месте. Я им говорю, ребята, будьте свободны, как я. Не зависьте ни от кого, делайте своё дело руками, а не задом, как теперь. Руками, как я, – дёсны, а на них зубы. И никто надо мной не стоит. И я свободен, как абшеронский ветер на берегу моря. Ты и не представляешь, каким свободным я себя чувствую, когда изготавливаю руками интерьер чьего-либо рта! Это особое счастье, надеяться на свои руки и чьи-то чужие зубы. Бывали у тебя такие минуты, когда ты абсолютно свободен? Это те минуты, когда ты держишь в руках изготовленные тобой зубы, которые исчезнут во рту их владельца, а ты получишь оговорённую плату и будешь свободен, как ветер. Это чувство свободы не сравнить ни с чем. Среди тех наседок есть и натуральные несушки, у которых имеются ученики, их доход составляет несколько тысяч долларов в месяц. Эти тоже сродни мне, когда выходят из своих застенков. Но там они заложники системы. И ждут, не дождутся, когда выйдут на пенсию. Я им говорю, ребята, идёмте пить чай. Здесь хорошая чайхана открылась. А они смотрят на меня, как на помешанного. Повремени со своим чаем, говорят они глазами, когда мы станем заслуженными пенсионерами. Вот тогда и выпьем вместе чай. А теперь не мешай насиживать свои рабочие места! А по мне, не жизнь это. Вот так сидеть весь день, сначала в первой половине дня, дожидаясь обеденного перерыва и срываясь на него за несколько минут раньше, а потом, во второй половине, дожидаясь, когда наступит конец рабочего дня! Если б меня не прихватило в какой-то момент за челюсти… Но я для спокойствия взялся за эту работу, чтобы на всякий непредвиденный случай иметь этот, хоть и небольшой, но постоянный заработок, к

которому всегда смогу добавить свой основной, то есть челюстной… Ты посвежел, – заметил он, взглянув на меня.

– Потому что влюбился, – ответил я.

– Но ведь это хорошо, – заключил он.

Сам он выглядел измученно и напряжённо, как и мельница, которую он охранял.

Печальное известие

Встретил Низами, который надел весенний жилет, купленный за 60 к… Кстати, когда он признался в этом, я возразил, что собирался у него купить его за 600 долларов, настолько он был хорош на вид. Но Низами остановил меня, сказав, что это слишком большая цена, но даже и за 1 манат он его не уступит, и назвал магазин, где он его приобрёл, а также и смокинг, обошедшийся в несколько манатов. «Смокинг стоит 1500 долларов, – сказал Васиф, когда я рассказал об этом. – Низами купил ещё в том магазине выходной костюм за 10 манатов, в котором не стыдно было показаться и на свадьбе. – А то я не знал, что мне надеть на свадьбу, – признавался он».

А потом неожиданно речь зашла о Тенгизе, дальнем родственнике, практиковавшемся в преподавании английского языка.

– Он теперь весьма поднаторел в этом, и у него очень солидные клиенты, наследники членов президентского аппарата, – говорил как-то Нафиз, мой кузен, в одну из последних встреч. Мы с ним встречались не часто, и когда это было по времени, затрудняюсь сказать; но, пожалуй, прошла с тех пор пара годков.

– Ты знаешь, наверное, что Тенгиз умер, – сообщил, сделавшись вдруг серьёзным, Низами.

– Да, я слышал, кажется, от кого-то… – вспомнил я, что слышал от сестры, которой об этом рассказала двоюродная сестра. – И как это произошло?

– С ним случился, видимо, инсульт, и он не выходил из дому пару дней. Соседи, обеспокоившись, взломали дверь и нашли его лежащим на полу с продырявленной головой; видимо, он потерял сознание и, падая, ударился об угол стула. В больнице пришлось делать операцию, и хирург, взявшийся за это, признался, что, когда он вскрыл мозг, увидел, что это мозг не 55-летнего мужчины, каким он был, а 80-летнего старика.

– Вот те на! Я и не знал, что по мозгу можно определить возраст человека, – отозвался я.

– Это был опытный врач, и я только передаю его слова. Потом он прожил ещё несколько месяцев, но уже не так деятельно, как до падения. И так же тихо умер. А при жизни был очень отзывчивый человек. Сейчас таких не много встретишь. Когда ни позвоню с каким-нибудь переводом, ведь я делаю сувениры для иностранцев, он тут же поможет. И с моей дочерью он занимался добросовестно английским языком.

– Да, я знаю…

Но, может быть, надо было слегка умерить свою добросовестность и это пожирающее желание познать тайны чужого языка, чтобы не износить вконец свой мозг. Если бы он во время работы мог видеть свой мозг так же, как и хирург, вскрывший его, может быть, его пыл и остыл. Ведь он понял бы, что сокращает этим жизнь, приближая себя к тому моменту, когда он упадёт на краешек стула и пролежит в беспамятстве 2 дня, один в своей квартире, пока его соседи не спохватятся, что пора ло-

мать дверь! Да, если бы человек мог знать всё вперёд, то он, возможно, лучше бы распорядился своей жизнью, – так я думал, но Низами сказал только, «до свидания, мне надо ещё продолжить вечернюю прогулку»...

Лида

Приходила Лида... Её муж, боже, разрешающая способность его взгляда была очень высока, так как когда она болела – 2 операции на кишечнике, – он приговорил её к смерти. То есть, разумеется, не он, а те линзы, которые сидели в нём – в его ушах, глазах, во всех его органах. Сестра его работала в больнице и сказала, что такая же больная, что и Лида, жена, скончалась у них недавно. Значит, она, Лида, тоже умрёт, решил Азиз. Она тоже умрёт, оставив его одного с повышенной способностью воспринимать окружающее. Она успокаивала его своей умеренной способностью оглядываться вокруг, когда он паниковал и готов был сорваться в пропасть.

– Он был физически силён и способен одним ударом убить человека. Но морально был слаб, терзаясь из-за пустяка, хотя и говорил, надо держаться до первого выстрела и не падать... Но ещё не было выстрела, а он возомнил канонаду... И всем соседям сказал, что я умираю, там на Артёме, где мы с ним жили... Он меня похоронил, когда я не собиралась ещё умирать, поверил сестре, у которой в клинике умерла такая же больная, что и я. То есть он был сражён без выстрела словами своей сестры. И поэтому стал хвататься за эту квартиру, которая была ему не нужна. От растерянности и глупости и потому, что услышал канонаду, приняв за неё слова сестры, пока ещё не было и выстрела. Так что же ты учил меня, чтобы держаться, когда сражён был не выстрелом, а словами...

– Он работал?

– Да, он был токарем. А когда не стало работы, развёл кроликов. У него были поодаль от нашего дома на Артёме подземные лабиринты, вырытые им, где он держал кроликов. Да, хозяйственный он был человек. А когда кроличье хозяйство истощилось, шил. Он был мужским мастером шитья. И поэтому, когда попадались женские заказы, я кроила, а он шил. Он шил прекрасно...

– Да, ведь он был токарем и умел работать руками... Наверное, и мастерил...

– Да, всё он делал... А потом сорвался... Не дотерпел... Решил, что я умираю. Сказал соседям, что у меня рак, и втянулся в глупую тяжбу с квартирой.

– Вряд ли она ему была нужна...

– От отчаяния... Он не знал, что ему делать, как приглушить горе... Вот и взялся он тянуть эту квартиру на себя... А когда ему указали, что же ты делаешь?. .. Жена умирает, а ты хочешь поживиться её добром, тогда запил. А ему нельзя было пить. Нервы не позволяли. Он, когда пил, становился невменяем.

– А до тебя у него был кто-то или ты первая?

– Я первая была у него, – сказала Лида, улыбнувшись; мол, вон он какой, необыкновенный.

– Наверное, у него болезнь была какая-то?

– Да, была. И поэтому нельзя было ему пить. А там и сестра что-то наговорила. В общем, он пришёл вечером домой – тоска там невыносимая – на Артёме. И дома очень дёшево стоят. В общем, нашла я его там уже повешенного. Вхожу, дверь открыта, и он висит уже не первый день ... Дня два, как минимум, провисел, а, может быть, и три... Не выдержал... Не дотерпел... А говорил, не падай до первого выстрела...

Фарцовщица

Я вспоминал, что когда мне не было и 30 лет, у нас была знакомая, которая занималась фарцовкой, приносила маме на продажу какие-то платья или косметику. Она была наружно видная женщина, разведённая с мужем, который продолжал за ней следить. По её словам, он её контролировал, куда она ходит, с кем встречается… Однажды я видел его, небольшого роста, с кудрявыми волосами, довольно симпатичного. И, увидев, подумал, что она не наговаривала на него. Видать, он всё ещё волочился за ней на некотором, несколько большем, чем прежде, расстоянии, как бы дав ей тем большую свободу действий… Сейчас припоминаю, что родители его как бы были против этого брака, что и привело, вопреки его желанию, к разводу. Но тогда я думал, чего же хотел моложаво выглядевший и энергичный мужчина от этой разваливающейся матроны. Ведь он мог бы найти пару, гораздо более подходящую и по семейному положению, и по общественному статусу. Потом Роза – так её звали – получила квартиру в хорошей части города, не очень далеко от нас. Уютная однокомнатная квартирка с ванной, туалетом, балконом, ну, в общем, со всеми удобствами. Однажды мы с моим студенческим другом провожали её домой, и она показала эту квартиру. Я запомнил её слова: «Я теперь только начинаю чувствовать вкус жизни». Так она сказала, уверенная, что мы её поняли. Но, увы, эти слова были совершенно непонятны для меня. Да, там было ещё одно слово, вкус жизни начинаешь понимать после 50-ти! И это меня тогда сразило. Неужели она не видела, что взлёт её кончился, и жизнь пошла на спад. Так на что же она надеется? Что снова взлетит, когда крылья уже обломаны и тело отяжелело?! Мне даже казалось, что она шутила, ведь не может же она не видеть этого несоответствия – того, что есть, тому, что она говорила! Тогда я был столь молод, что мне не верилось её словам, что она может начать жить после 50-ти. Ведь, не достигнув и 30-ти, я знал, что такое молодая жизнь и как чувствуешь себя в её начале! А она, скатываясь в яму старости, собиралась, по её словам, вкусить жизнь. Какую? Мне было непонятно, она собиралась вкушать жизнь, что она несла в своём теле? Но от неё надо было избавляться, а не вкушать её, так я думал. Та жизнь, которая текла в ней, могла быть источником хлопот, а не радости, которую чувствуешь в 23, в 25, в 27 и, может быть, ещё в 30, но не в 50, а, тем более, за 50...

Я смотрел на неё печально; меня не радовало её заблуждение. И мне казалось, что она тоже убедится вскоре, что это – лишь заблуждение, и тогда радость ожидания в ней погаснет, и она примет соответствующий своему возрасту облик.

Теперь, перевалив за 50-летний рубеж, я думаю, что жизнь можно начать и в 60 лет, и в 70 лет. Но чем отличается начало жизни на этом рубеже от начала в 20- или 30-летнем возрасте? Вот это понять важно. И, вообще, чем отличаются разные возрасты и люди, в них пребывающие. Я смотрел фильм «Сладкая жизнь» и понял – прелесть фильма в различиях представленных людей, разных способах их жизни и попытках понять её смысл. Каждый человек – неизведанный мир, и изучить его, вопреки логике и даже представлениям художника, вот что завораживает. Каждая частная жизнь вместе с её особенностями и нередко заблуждениями. Это действительно интересно. И теперь я почти что понимаю Розу, получившую удобную квартиру в хорошей части города и собиравшуюся в 50 лет начать жизнь заново. А почему нет? Она, слава Богу, не больна, хотя, может быть, и не так молода, как хотелось бы. Да не беда! Эффектна и ещё привлекает внимание мужчин. Все карты ей в руки! А вза-

мен молодости у неё есть опыт и развитый ум. Ум 50-летней женщины, знающей опыт в фарцовке, а значит, и в людях, в частности, в мужчинах. Это что-то значит! Теперь она может этот опыт направить по совершенно другому руслу. Ублажать мужа, надеяться на будущее и жить, жить, жить… Конечно, это здорово, думала Роза, смотря со своего балкона на улицу, по которой сновали прохожие и среди них мужчины, и довольно интересные. Она может завязать роман вот с этим или с тем, а, может быть, вот с этим маленьким, так похожим на её прежнего мужа… Дурак, маменькин сынок. Он ещё пожалеет, что оставил её. Она ему покажет себя…

Учительница

Я был у Айгюн, приглашённый на обед её матерью.

– Мы тебя не оставим, ты у нас единственный, – сказала её мать по телефону, так что приходи на обед.

И я обедал у них. Айгюн ухаживала и не лучшим образом, пока мы беседовали с её матерью, ведь у нас много общего – училки! И мать рассказывала, как лежала в больнице с «бабиной», бабой больших размеров, согнавшей с койки соседа, который приставал к ней. Он – инвалид гарабахской войны с одной ногой, всячески ухаживал за ней, а потом сказал, можно поцелую тебя. «Только по-дружески и в щёчку», – ответила она. «А в губы?» «Губы не для тебя». Тем и ограничился. А ночью, когда стало клонить ко сну, она вдруг думает, засну, и он окажется на мне, и тогда, пропади всё пропадом! Нет, не буду спать. Посмотрю, что он сделает. А он притворился, будто спит; мол, и она заснёт, а он – шасть на неё! А там уже дело житейское. Нет, он как будто и впрямь спит, да только не храпит. А тут невзначай взглянул на неё. Стало быть, не спит. «Эй, любезный, – позвала она, – ты что высматриваешь, уж не меня ли выжидаешь? Да только брось, пустая это затея. Ничегошеньки ты не добьёшься, и при первой же попытке овладеть мною лишишься и второй ноги, которую я сама вырву и швырну к этому порогу». Наутро он собрал свои вещи и был таков. А 3 месяца до этого пролежал в больнице, и медицинский персонал уже не чаял, когда можно будет избавиться от него. Вот такую историю она рассказала, а потом указала на свой молодой портрет. «Муж гордился мной, – добавила она, – что у него красивая жена». Да, она была красива тогда и теперь не утратила живость черт. «Когда умер мой муж, я думала, всё рухнуло, не проживу без него… Но жизнь, видно, совершенная школа, и я приспособилась, да и дочь вырастила… Айгюн, принеси нам чаю…»

Да, жизнь, конечно, совершенная школа, самая совершенная из всех возможных. Но в то же время она и мастерская иллюзиониста, самого великого из всех, жизни! Ведь что, как не жизнь, превратила эту некогда молодую женщину в старую развалину, которую я видел перед собой, заставив её поверить в то, что она – эта старуха теперь – и то воздушное создание, что красовалось на фотографии в счастливый период жизни, когда ею гордился муж, – одно и то же существо! И она искренне верила в этот абсурд, в вымысел находчивой жизни, называя процесс превращения её из юной красавицы в ковыляющую старуху, школой жизни. «Какая же это школа? – хотел я сказать. – Вы же остались ни с чем, оглянитесь, вас просто объегорили, и вы не та, что были прежде. Прежде была юная красотка, а теперь кряхтящая от болей в суставах старуха. Оглянитесь, и вы поймёте, что та нить, что связывает вас с той, что вы видите на фотографии, – обман зрения, иллюзия, и жизнь вовсе не школа, а если и школа, то великого обмана, беспримерной иллюзии. Эльмира, вы теперь

только учительница в школе с начинающей стареть дочерью, а некогда были молодой красивой женщиной, и это вы называете школой жизни, отбросьте эти иллюзии и порвите с прошлым. Выбросьте эту фотографию чужой женщины из дому. Вы и теперь ещё привлекательны, но совсем по-другому, что, хоть и на костылях, мыслите об успехе среди учеников, ведь каждый раз на выпускном экзамене их родительницы оставляют на ваших щеках румяна и следы от дорогих помад… Вы же сами об этом говорили, когда выступали в те торжественные дни со стихами, обращёнными к ученикам, уже бывшим, выпущенным из золотой школьной клетки. Так что, Эльмираханым, жизнь – не школа, а иллюзия превращения одних людей в других, бывших учеников в будущих молодых людей и т.д.»

Сватовство

Когда мы были у Нафиза, Таир старался внушить ему мысль о женитьбе.

– Надо оставить след после себя…

То есть состоящий из детей, что ли? Что-то вроде этого он хотел сказать. Нафиз же возражал, что нет уверенности в завтрашнем дне. «А у кого она есть? – спрашивал Таир. – Но, тем не менее, люди женятся и заводят семьи и имеют детей и т.д. В общем, живут, как люди. Давай мы и тебя женим», – предлагал Таир. «Я не бык, чтобы искать мне пару, племенную корову для совокупления», – примерно так отвечал Нафиз. Таир возразил, что у человека должна быть какая-то цель в жизни, и привлёк на свою сторону выдержки из сочинений Ницше. Нафиз сказал, что это относилось к арийцам, а мы ещё не доросли… Но Таир его перебил и сказал, что всё это советская пропаганда; Ницше умер в начале XX века, а фашисты появились после него более, чем через 30 лет. Тогда Нафиз ответил, что прошли те времена, когда люди женились под диктовку родителей или кого бы то ни было. Что теперь человек свободен и может выбирать, кто поразит его молнией встречного взгляда, то есть получается, что не он, мужчина, а его, то бишь, женщина выбирает. И если до сих пор он был столь несчастен, что не был избран, то не стоит помогать, пускай выходит из создавшегося положения сам и т.д. А рядом с нами стояла клетка с парой попугаев, самцом и самкой. И они передвигались за сеткой, сделанной Нафизом, создавая трескотню, и время от времени чирикали. «Это мне друг подарил, – рассказывал Нафиз. – Сын его поймал на балконе самку попугая. И он предложил взять её, им негде было её держать, жена не позволяла». Тогда Нафиз соорудил из телевизионного ящика клетку, приладил к ней сетку и купил самца, который оказался несколько смурной. Но благодаря самке… в общем, она управляет им и показывает, как следует себя вести. Например, когда Нафиз спит – в той же комнате, что и клетка, – она не позволяет чирикать, чтобы не разбудил… «И вообще умна, – подчеркнул Нафиз, – ну, и что, птица. А ведёт себя, как женщина…»

Воспоминания о маме

1

Недавно приходила тётя Ляля с белой кожей, натянутой на лицо, как будто завёрнутая в тайну, которой лучилась её кожа. Другой тайной были её порывистые движения и желание хоть как-то, как она способна была, угодить маме, пока она в

состоянии это ценить. Хотя это больше упиралось на упрёки со стороны мамы, которые Ляля старалась сгладить, ссылаясь на своё занятое положение.

– Ты ещё здорова, – отвечала мама, козыряя в этот момент своим нездоровым состоянием и возрастом. – А вот я уже точно кандидат на тот свет, да только затянулось рассмотрение моей кандидатуры и надоело мне ждать. Пора уже отправляться туда, здесь мне больше нечего делать.

– Что ты, Джемочка, – возражала с виноватой интонацией в голосе Ляля, – куда ты собралась, мы тебя не отпустим.

– Что меня здесь держать, я уже страшная стала, все меня боятся, – мама напрашивалась на комплименты, и я сказал об этом тёте Ляле, когда она спросила, «кто тебя боится?» А мама, хотя и плохо слышала, бросила: «все…»

– Ну, что ты, Джема; ты всё ещё красивая, и не надо на себя наговаривать.

Когда эти мелкие недомолвки и неопределённости были разрешены, между двумя женщинами – бывшими невестками – установился более тесный контакт. Они (особенно мама) не упрекали друг друга, ни скрытно, ни определённо – даже тётя Ляля иногда перехватывала инициативу, когда на угасающие упрёки мамы, что она забыла её, догадливо, спохватившись, отвечала.

– Ну вот я пришла, но ты же со мной не говоришь, – намекая, что мама играет в карты (что она и делала) с Суриёй. – Ты даже не смотришь на меня, – говорила она, усмехаясь и как бы подшучивая над мамой.

– А о чём мне говорить? – отвечала мама. – Я уже всё сказала. Вот ты пришла и говори…

– Но тогда хотя бы посмотри на меня…

И мама оборачивалась, скользя по ней взглядом. А она, удовлетворённая, склонялась к ней, улыбаясь и касаясь ласкательными движениями рук её плеч.

– А как поживает муж твоей дочери? – спрашивала, оживившись, мама.

– У меня две дочери, о ком ты спрашиваешь?

– Тот, что в Америке…

– Она помнит только его, – пояснил я. – Так что я говорю Фире, скажи Расиму, чтобы не возвращался, если не хочешь выпасть из памяти её, как и многие другие…

Белая кожа тёти Ляли была загадочна, возможно, тем, что показывала, как далеко отстояла от неё смуглая кожа её покойного мужа. В самой белизне её была загадка. Возможно, за ней скрывалась обида на некую родственницу, забывшую её после того, как вознеслась звезда её дочери. Её дочь, обласканная испанской примадонной, кружила по Европе вместе с матерью, следующей за ней всюду, а теперь заехавшей сюда, чтобы уладить кое-какие дела. Тётя Ляля сказала по телефону, что хочет зайти к ней с дочерью. А она ответила, что не сможет их принять, так как у ней нет и чая, чтобы угостить.

– А что, мы разве приходим к тебе за чаем? – ответила тётя Ляля, повесив трубку.

А потом она звонила, чтобы звать их вечером к себе. Но Ляля ответила, спасибо, мы не сможем прийти. Так и не увиделись.

– А раньше (до примадонны) она постоянно звонила и искала встречи с нами. Когда умирал её муж (тёти Ляли кровный брат), что я только ни делала…

– Но Тофик был очень хороший, – вспомнил я.

– Да, он был совсем другой человек. Не то, что эти, из грязи – в князи. Им теперь только бы заработать деньги. Их спонсор – влиятельный человек – устраивает

концерты со знаменитыми исполнителями в России, а теперь и в Европе. А они собирают деньги, чтобы купить квартиру в Москве. У них и сейчас квартира, которую снимает спонсор, прекрасная квартира, просторная. И машина, иномарка. Так что, когда они приезжают после гастролей в Москву, не испытывают неудобств. Он – спонсор – нанял и педагога по вокалу, который каждый день занимается с ней, ставит голос и т.д. А меня, конечно, теперь можно и забыть. Я им уже не нужна. У них теперь свои дела там, на гастролях, и в Москве.

Белый цвет, как известно, заключает в себе все цвета спектра. И, может быть, поэтому он и был интересен, разливаясь по гладкой коже нашей родственницы, что скрывал за собой её отношение к нам, и тем, кого она встречала в жизни. И теперь ослеплял своей белизной, не давая заглянуть за него, чтобы прикоснуться к тайне её жизни, в которой переплетались судьбы знакомых людей. Это было интересно, сквозь белую завесу схватить хотя бы маленький кусочек жизни, которою она жила, пока не пришла к нам. Но белая кожа была, как портьера, за которой скрывался театр её души, который она видела во сне, а потом наяву, составленный из образов окружавших её людей. Она была врачом, занималась анализом крови, и поэтому цвет её кожи напоминал рабочий халат, скрывавший за собой опыты с кровью, которые она делала на работе вместе с сослуживицами. Они перекидывались в лаборатории последними сплетнями, а потом производили опыты с кровью, человеческой, и поэтому она знала о людях многое, чего не знали они о себе. Она знала, что кровь у них красная, густая и липкая и что её можно переливать от одного к другому, чтобы продлить жизнь. Она знала это. Но всё это скрывалось за белой кожей, чистой, как врачебный халат.

2

Вчера я расчувствовался, когда мама подозвала к себе и просила конфиденциально Адилю – приходящую смотреть за ней женщину, чтобы та через влиятельных знакомых, о которых она говорила, достала лекарство, которое убивает.

– Слышишь? Ты не подведёшь меня? – допытывалась мама.

– Они уехали, их сейчас нет, – отвечала Адиля.

– А когда они приедут, скоро?

– Да.

– Тогда обещай, что ты достанешь это лекарство через них. Обещаешь?

– Да.

– Ну и хорошо. Я тебя очень люблю. Только смотри, не подведи. Ты обещала… – в её голосе не было и тени иронии, но, наоборот, всё очень серьёзно, как и подобает, когда говорят не о пустяках; об убийстве, в данном случае. – Я себя очень плохо чувствую, – признавалась мама. – Всё тело у меня болит, и спина, и ноги, и голова, и лицо; нет ни одного места, которое бы не болело. Прошу тебя, избавь меня от этих мучений, достань лекарство, которое убивает. – Они, – имелись в виду влиятельные знакомые, – знают, где его достать и дадут, если ты попросишь. Прошу тебя, сделай это для меня, я не могу больше так жить с этим телом, которое мучает меня.

– Хорошо. – В голосе же Адили чувствовалась ирония, как же она могла серьёзно воспринимать слова мамы и соучаствовать в её убийстве. Для неё это была шутка, причём тем большая, чем серьёзней говорила мама. А она говорила на этот раз очень серьёзно, с ясным пониманием того, что она просит.

И я не сомневался, что, принеси Адиля такую таблетку, мама без колебаний примет её, попрощавшись с нами, и перейдёт в мир иной. Она часто повторяла, играя со мной в карты, «мне немного осталось жить, и вы будете скучать по мне, когда меня не будет, поэтому наберитесь терпения и принимайте, какая я есть, пусть и с перечнем невыносимых недостатков. Но я же ваша мать, и что тут поделаешь…»

И я, услышав разговор её с Адилей, растрогался, почувствовав её непоколебимость перед смертью, прошёл в свою комнату и расплакался. И, плача, я очистился от всего лишнего, мешающего разобраться в ней. Я понял, что меня особенно поражало в её характере – слабость перед соблазнами: сигареты, карты и прочее, и твёрдость перед самым страшным испытанием – смертью. Смерть не пугала её, если не было сигарет и прочего, что украшало человеческую жизнь. А тогда спрашивается, зачем же нужна такая жизнь, если в ней нет никаких признаков человеческого, и она готова тогда принять смерть; лучше небытиё, чем нечеловеческие страдания; лучше уж **та** жизнь, какая бы она ни была…

3

Я хочу думать о Саиде. О том, что ей почти нечего делать, как делать что-то по хозяйству и ещё заниматься собой, косметикой, здоровьем и фигурой, и ещё думать немного о сыне, младшем, потому что старший уже устроился работать в ресторане, который частично и принадлежит ему. Почему у неё глаза цвета осенней листвы? Как будто цвет опавших прошедшей осенью листьев обволакивал её глаза. И что-то розоватое было в глубине их, как будто там прятался закат; закат последней осени. Он не согревал, этот свет, а намекал на что-то, какую-то тайную страсть, спрятанную в глубине её и лишь изредка, например, по весне, светящуюся тускло.

И ещё я хотел думать о Софе-ханым, навещавшей раз в неделю нас. Чем она жила? Ведь жила она в одиночестве, борясь с болезнями, с назойливым жужжанием окружавшими её то густым, то редким облаком. Какие принимать лекарства? Она сменяла одни другими, в зависимости, какая часть тела причиняла ей больше страдания.

– Милочка, измерь мне давление.

А потом принимала лекарство или забывала принимать за игрой в карты с мамой.

– Софа-ханум, а я не измерила вам давление? – спохватывалась Мила.

– А-а, ничего. Какая разница…

– Нет, давайте измерим… Сегодня оно ещё ничего; не так страшно, как в прошлый раз. Но вы всё равно примите лекарство. А вы не показывались врачу?

– В моём возрасте какой врач! Что может с ним сделать врач?

– Но у вас нижнее давление повышено. Надо бы проверить почки и сердце.

– А-а, будь, что будет. В моём возрасте всё равно остаётся мало времени жить, и не всё ли равно, что окажется причиной конца. Он всё равно не за горами.

– Но зачем же болеть? Можно ведь прожить и со здоровьем, получая от жизни хоть какие удовольствия, которые ещё остались…

– Конечно, хочется пожить и в удовольствии, да только кто это знает… А почему вы покрыли пикой? – она обращалась к маме, с которой играла в карты, – у нас козыри бубны, вот…

И ещё о Земе хотел бы я думать, потому что она к нам заходила. Была худа, как

всегда, – вегетерианка – в свои 50 с чем-то лет продолжавшая выглядеть девочкой (девчонкой!). Она принесла кутабы с зеленью и мясом, потому что была голодна. С зеленью отчасти для себя, а с мясом – для нас. Она предложила и мне, но я сказал, не доверяю кутабам, чтоб усомнилась, но решила положительно, что доверяю ей. Мама сказала, что она внучка в прошлом известной актрисы, чтобы мы уверились, что память ещё не покинула её. А я думал, что зашла она в воскресенье, будучи на работе. «На перерыв, – сказала она, – и скоро ухожу». Что значила эта работа? Раскрывала ли её как человека? Она вся в работе – плащ, причёска, взгляд больших под чёлкой глаз. Нет, ей не хватает времени выспаться. Это видно и по цвету кожи, несколько тёмному, и по глазам, утомлённым и чуть-чуть расширенным. Но эта работа поглощает ту часть её, с которой трудно было бы сладить, что видно и на примере мамы – мы едва с ней справляемся, – оставляя обозревать вполне определённую часть, с которой легко и просто. Настолько просто, что хочется думать о той, которую поглотила работа. И вообще, что такое безделье или такая работа, как её, которая кажется черпанием воды решетом. Ведь, казалось бы, жизнь проходит через неё, как вода в решето! И что ей остаётся? Ничего. И ради этого стоило бы работать? Чтобы в 50 выглядеть почти, как в 30, по крайней мере, в глазах сверстниц – ах, эти сверстницы, лучше о них не вспоминать. Хотя бывают, конечно, исключения. Нет, ей повезло с подругами. Они настроены по отношению к ней благожелательно… И что же такое все-таки существо, которому нечего в жизни делать?… Почти все, кроме редких исключений… Так что же такое: человек без дела или человек в суетном деле, которое поглощает, оставляя на поверхности только худую оболочку? Как в нём возникают страсти? Как в море буря? Как в джазовой импровизации тема? Как? Я хочу понять, возникают ли бурные страсти в таком человеке? Способен ли он на них? Или в нём возникают другие страсти, о которых мы не знаем? Уводящие вниз? Вверх? Или в сторону; или кружащие снизу вверх, а потом выбрасывающие в сторону! Я хочу знать, что если нет страстей, что находится в душе? Вакуум? Но не страшней ли он, чем страсти, взятые вместе, и не глубже ли? Вот что хочу я знать. Отсутствие страстей – не ответ на состояние человека, которое характеризует покой. Отсутствие страстей – новая страсть – вакуумная! И, может быть, она страшней неизведанностью своей. Состояние стариков, верно, характеризуется чем-то, подобным вакуумному состоянию. А состояние дегенератов, даунов и вообще людей с психическими отклонениями. Как хаос? Детерминированный хаос? Или это всего лишь незнание тех состояний, прикрытое случайными словами?...

С мамой трудно именно из-за её покойного состояния, когда она предоставлена себе, и её неопределённая часть не поглощается ничем: ни работой, ни досугом, ни иногда даже сном. Так что она достаётся нам или, вернее, нам от неё достаётся. «Какой сейчас месяц?» «А когда будет май?» «Что Мила приготовит завтра в обед?» «Почему не приходит Адиля? Она что, заболела?» и т.д. Вот в чём проявляется она, не зная, куда направить главную душевную энергию. Особенно утомляет, когда она обращается к потребляемым ею предметам, лежащим на столе.

– Посмотри, много ли осталось шампуня в том высоком флаконе?

– Вполне…

– Ты думаешь, мне хватит послезавтра во время купания?

– Да.

– А я боюсь, что не хватит. Надо бы купить ещё флакон.

– Но это же дорого, мама! – кричит сестра. – Того, что есть, ещё на месяц хватит.

– А для каких это волос?

– Для твоих.

– А Шекер сказал, что это для очень жирных волос и что он сушит волосы.

– Ты Шекеру веришь или мне? – срывается сестра.

– Ну, конечно же, тебе. Я тебя очень люблю. Но мне нужен мягкий шампунь, чтобы не сушил.

– Кто тебе сказал, что он сушит?

– Шекер.

– Он ничего не сушит. Это очень дорогой шампунь, который, уезжая, Аза купила специально для твоих волос.

– Кто купил?

– Аза.

– Моя дочь, Аза?

– Ну, да. Она купила этот шампунь, чтобы ты мыла волосы. Он смягчает их…

– А Шекер говорит, что сушит.

– Он шутит, ведь он не понимает. А понимаем мы с Азой, твои дочери.

– Я вас очень люблю. Кто может быть мне дороже вас. Да только шампуня здесь совсем мало осталось, и я боюсь, что мне во время купания не хватит.

– Да что ты говоришь, мама! Это очень дорогой шампунь. И его надо употреблять понемногу.

– Ты думаешь, что его мне хватит на этот раз?

– Его хватит и на этот, и на следующий раз, надолго. Можешь не беспокоиться.

– Ну, раз ты так говоришь, то я поверю тебе. И ты говоришь, что он не сушит?

– Ну конечно, мама. Сколько же можно повторять одно и то же. Он не сушит, и запомни это раз и навсегда.

– А почему Шекер решил, что он сушит? Не могу взять в толк. Не могла ли ты прочитать мне, что там написано, на этом флаконе, чтобы я, наконец, разобралась, сушит он или смягчает.

– Он не сушит, а смягчает, и там написано как раз это. И не мучай больше меня. Мне надоело отвечать на однообразные вопросы. Я устала…

И это только крупица в череде повседневных вопросов. Из этих мелких многочисленных крупиц состоит весь день. А за ним идёт следующий и т.д. Из него видно, что человек в свободном состоянии представляет собой резервуар, полный отрицательной энергии. Общество выработало нормы поведения, препятствующие передаче такой энергии от одних её членов другим и циркуляции её в отдельных пластах. Государственная служба способствует поглощению подавляющей части этой энергии. Когда сознание ещё в здоровом состоянии, эту отрицательную энергию человек может (сознательно) претворить в положительную, занимаясь полезным трудом. Вообще эти свободные (вакуумные) состояния человека, когда он предоставлен самому себе, мало изучены. Разве что Шекспир знал об этом…

4

Идея моего будущего сочинения – возможность перехода людей друг в друга, слияние, таким образом, их внутренних миров, чтобы освободиться от оков раздельного существования и войти в соединяющий нас космос необъятной человеческой жизни. Только так можно спастись от одиночества и убогости раздельного суще-

ствования, когда богатому и зазнавшемуся и нищий брат. Он ведь просто другая его сторона, о которой он, возможно, не подозревал, но стоит только внимательней приглядеться, как он увидит себя, неудачливого и без багажа денежного запаса в карманах. И тогда он лучше ощутит и себя, поймёт, что, не будь серии удач, и, возможно, он бы был на месте нищего. Стоит только немного изменить условия жизни и переставить кое-что в себе, да чуточку подправить начальные условия, то есть, что передано от предков, генную информацию, как мы уже другие, как уже стоим на углу улицы, совершенно открытые для течений жизни… Пусть они хлещут в нас, мы открыты и ничем не защищены, как в богатом состоянии, когда со всех сторон были закрыты и прикрыты и пребывали наедине с богатством. Но кто богаче? В ком вся жизнь или у кого нет ничего, кроме нажитого богатства, и кто тоскует о жизни, что за пределами богатства, надеясь когда-нибудь её купить.

Сейчас только понемногу и с немалым трудом мне приходит, кажется, понимание жизни, состоящее главным образом в понимании состояний окружающих людей, как они видят мир и меня, чем живут и что чувствуют. Если понять это или хотя бы пытаться это сделать, то, может быть, удастся раздвинуть рамки однообразного существования. И выйти в мир внутренних состояний других людей, увлечься их чувствами и чаяниями и зажить, наконец, несколькими жизнями вместо одной, той, которую получил в наследство, предписанную предыдущими поколениями предков, не имеющих представления о предках иных людей, тех, что сейчас меня интересуют. А я хочу знать, что они наследовали тем, другим людям, и жить не той жизнью, что предписана, а той, что шире и красочней, жизнями других людей, заимствовав их улыбки и лица, ощутив особенность строения их тел, прохладу кожи представительниц прекрасного пола. Я хочу зажить всеми клетками души и тела, как некогда жил во сне всеми клетками души, добавив к ним и клетки тела, а также тех тел и душ, которые я встречал в жизни.

Вот, оказывается, к чему я стремился всю жизнь, к слиянию с жизнями других людей, чтобы образовался простор, составленный из нескольких или даже многих жизней, в котором ныне бы развивалась моя жизнь. И мама была склонна к этому. И мы не понимали её, замкнувшись в собственной, лишь нам интересной жизни. И интересной потому, что мы не видели выхода из неё в другие жизни. А она видела или чувствовала и стремилась к ним, другим. А мы думали, что это – блажь, неумение вести свою обособленную жизнь...

Скука

1

Когда моя родственница была жива, я думал, что пользы в её жизни? Ведь она так неинтересна своими визитами к нам вместе со всем своим семейством, сыном, невесткой, кумой и двумя своими внуками. Это так банально, думал я, потому что я в то время только думал. А теперь, когда её не стало, я чувствовал, как отделился от нас богатый пласт жизни, связанный с её визитами к нам, когда она говорила нам избитые вещи или обсуждала чью-то постороннюю жизнь. Теперь в этой банальности я видел столько неуловимого, ведь трудно было воспроизвести её, эту банальность. И как я скучаю теперь по ней. По её этому скучающему лицу, когда как будто бы её ничто не могло больше удивить, и она оглядывала нас, скользя, может быть, ещё равнодушней взглядом по мне, когда я появлялся в гостиной с не менее скучным

лицом, чтобы отразить от себя всю скуку, скуку её лица. И Фарид, её сын; что мог нести в себе ребёнок – бесконечную скуку, не больше. И я убеждал себя, что не видел в нём ничего больше скуки, выдавливая из себя с трудом скучные слова приветствия. И он отвечал мне почти тем же, тоже приветствуя меня. И я поражался, как он пробивал свою скуку весёлым тоном голоса, когда приветствовал меня и разрезал скуку своего лица приветливой улыбкой. А теперь он повис на моём сердце на нитях той самой скуки, которую я неизменно испытывал ко всей их семье с тем выражением лица, с которым он провожал в последний путь на кладбище мать. Его лицо было не веселей, чем когда он приходил к нам, а, скорее, грустней. И под этой тонкой плёнкой грусти я разглядел, наконец, содержание, которым была смерть его матери, а верней, её отсутствие, а ещё верней, значительность её присутствия рядом с ним, которой теперь, увы, не было. И эта зияющая пустота, связанная с этим, проглядывалась как мутное изображение за тонкой плёнкой скуки, опутывавшей как маска его лицо. И я понял, как жалок был я, видевший во всём этом когда-то одну только скуку, за которой следовала другая и потом то же самое, и не видел того, что буквально за несколькими слоями уже шли другие, отличные от этих. И в этих слоях как на папирусах были начертаны вся их жизнь и смерть и рождение следующих поколений, тогда как я, эгоистично замкнувшись в себе, видел во всём окружавшем меня тогда одну только скуку, показывая им себя как равноценную по качеству скуку.

Теперь мне не хватает обыденности моей родственницы, скрывающей за собой тайну её жизни, целиком поглощённую смертью, что вызывает у меня даже бессмысленную ревность.

В ту ночь, когда я думал о ней без всякого энтузиазма, она двигалась к своей смерти, и путь её был совсем, совсем не скучным, а, наоборот, насыщенным жизнью, потому что ей предстояло оставшуюся жизнь прожить в течение нескольких оставшихся часов. И это было совсем не так скучно, как казалось, когда я без всякого энтузиазма думал о ней, находясь очень далеко от того перехода, по которому она шла к своей смерти. И к смерти, заключённой в предыдущей смерти, а потом к той, что располагалась внутри этой, и т.д. С неё как с матрёшки снимали внешнюю оболочку, чтобы добраться, до внутренней и т.д. И это было не так безынтересно, как казалось со стороны. И её сын, видимо, чувствовал, что с ней происходило, отдавая ей кровь своих друзей, чтобы вернуть обратно весь этот душераздирающий процесс. Но, увы, всё было тщетно. Обратной дороги уже не было. И глаза его пустели, когда в них поднялась тонкая драпировка надежды. Как будто в них застыл какой-то вопрос вместе с ответом, кружась по пустой сцене в неуместном танце… И всё это было когда-то глубинным содержанием моей скуки… Подумать только…

2

Вчера мы отмечали кафедрой день рождения заведующего, похоронившего недавно своего отца – 90 лет ему было или он не дожил до этой даты всего лишь один месяц.

– После 60 лет жизни всё в ней уже одно, – признался он, оправдывая некоторую свою пассивность или, что он или все достигшие этого возраста вернули свои долги жизни, и теперь, что бы они ни делали – будут ли ждать своей смерти или время от времени что-нибудь делать, надо расценивать это как безвозмездный вклад в неё. Что-то в этом роде хотел он сказать, лишившись своего 90-летнего отца и

думая непроизвольно о разнице лет – 30 между ними было – и чем же их можно будет, на его взгляд, заполнить, не находя ничего, сколько-нибудь достойного внимания. Пока. Может быть, однако, потом что-то и откроется, чего он пока ещё не знает. А мы поздравляли его с тем, что стал он на год старше по сравнению с тем, когда мы поздравляли его примерно с тем же в последний раз; хотя, пожалуй, на 2 года старше, потому что в прошлом году мы, кажется, его не поздравляли. И вот ради того, чтобы он монотонно пробурчал, сидя за накрытым столом, что всё в жизни одно после 60 лет, мы и собрались, чтобы отметить его 59-летие, после которого следовал тот самый рубеж, о котором он так неприветливо и отозвался. Но я пришёл к месту нашей встречи, от которой мы ехали сюда автобусом и, не мало ещё, не самой быстрой дорогой, хотя и короткой. Я именно пришёл туда, не воспользовавшись дополнительным средством передвижения, то бишь транспортом. И, идя, я проходил мимо университетского городка, полного лавчонок, затхлых кафе, парикмахерских на одного человека, сборных для бытовой техники пунктов, каких-то салонов и непонятных заведений. Но эти, так называемые кафе, с покрытыми тусклым блеском столами и полутёмными интерьерами с посетителями в виде некоторого семейства, пришедшего сюда пообедать – чем? И тут же сбоку от входа вы находили табличку: гречка, котлеты, суп и т.д. Неужели же нельзя было всё это приготовить дома, но, рискуя, надо было приходить сюда, рискуя испортить себе и своим детям желудки, если и вконец не отравиться? Или они так разнообразили свой ещё более убогий быт, куда входил и элемент риска, ведь он тоже выделялся из монотонности жизни. Да к тому же они разнообразили этим монотонную скуку владельцев кафе семейным посещением, во время которого, как волейбольным мячом, они перебрасывались всеми элементами этого риска, удастся ли им выдать хлеб за мясо, взяв выручку как за мясо, и т.д. И при этом был ещё риск, что они отравятся, и тогда возникнут новые неприятности и т.д.

И ещё были парикмахерские с большим дешёвым прямоугольным зеркалом, в котором расширялась стерильная как будто бы с виду пустота тесного салона, в котором едва помещался мастер с клиентом, сидящим в кресле без ожидания чуда, которое сейчас произойдёт на его голове. Нет, на его голове производилась обычная рутинная работа мастером с таким же точно лицом, как и у клиента, без мастерской печати на лице, отличавшемся от клиента своим местоположением – он стоял за креслом, суетясь, а тот сидел в кресле обречённо. Только и всего. Но положение за креслом интуитивно вкладывало в его позу и соответствующее содержание, когда невольно думалось, что он всё же обладал хотя бы минимальными навыками своего ремесла. Об этом же говорили и неизбежные предметы: ножницы, железная расчёска и т.д. И ещё какая-то обстановка постоянной смены клиентов; что отражалось в зеркале – преходяще, и на смену ему придёт нечто новое, что, однако же, будет восприниматься, как текущее, без всякого восторга, как будто это то же самое и как будто ничего не изменилось…

Потом были какие-то магазинчики или лавчонки со старыми часами, которые все как один не ходили, а только демонстрировали сквозь стёкла над прилавком стоящие на циферблате стрелки или только одну из них, если вторая куда-то исчезла, показывая тем самым необъятную глубину времени и измеряющих его часов, в частности…

Всё это я прошёл, чтобы прийти к месту нашей встречи, откуда мы и уселись в автобус, который нёсся, трясясь немало по дороге с частыми поворотами, чтобы ока-

заться здесь, за уставленным сначала закусками и высокой вазой с фруктами, а потом и горячими блюдами и разными шашлыками, столом, за которым сели все представители нашей кафедры вместе с заведующим, оказавшимся во главе стола. А потом, по мере выпитого и съеденного, они разговорились на скучные темы, а заведующий с приглушённой патетикой в голосе сказал, что после 60 лет нечего ждать перемен в жизни, как будто для этого мы и пришли, чтобы услыхать это. Потом поочерёдно он пил за здоровье каждого из нас, поднимая бокал с минеральной водой – водка нарушала его вестибулярный аппарат – и, говоря очень скучные вещи, что, если бы не было одной из наших сотрудниц, то не было бы и этого скучного вечера, состоявшегося в память о дне его рождения, которое, может быть, не так уже и скучно, но за которым следовала, особенно же теперь, с неизбежной оглядкой назад, в общем-то, постоянная скука. Сурхай же, наш доцент, был весел, потому что его неизменно веселила повторяющаяся во время наших сборов скука, образующаяся вокруг уставленного едой стола. Гулу же со скучным видом сказал, что он интересуется литературой и поэтому не понимает, откуда я достаю сюжеты для своих рассказов. Об этом он узнал у Г.Ш., сказавшего, что я пишу неплохие рассказы. Но и это, увы, не развеяло скуку нашего вечера. И поэтому мы договорились, что в следующий раз поедем в один из живописных районов, чтобы перенести нашу совместную скуку туда.

Мимолётное

Сегодня я находился под впечатлением той мысли, что, если бы я проснулся, то оказался бы в очень далёком прошлом. И, идя из института, я видел взлетевшую к небу ворону и уже почти что представил себе то прошлое, в котором я мог как бы оказаться. И ещё я видел, кажется, Колю Судакова, солидного мужчину с густой серебряной бородой, что ходил под руку со своей подругой жизни, верно. И я думал, что это, скорей всего, Коля Судаков, но с той бородой, которая не предполагалась в нём раньше. И он, прикрываясь ею, как бы отрывался от того прошлого, в котором я его знал, но без этой бороды. Борода эта была детищем иного времени, в котором я его не знал, в котором мы были с ним разделены. И она росла на нём беспрепятственно, умножая количество разделявших нас лет, которые теперь превратились в серебро его бороды, за которой он прятался от всех тех, кто знал его в том далёком прошлом, но о которых он не хотел больше знать. Он очень степенно ходил со своей подружкой вокруг скверика, обласканный солнцем, которое отражалось от серебра его бороды…

Судаков Коля с пышно растущей посеребренной бородой, покрывавшей сплошь его некогда знакомый подбородок, – вот что запомнилось во весь вчерашний день. Это самое яркое впечатление – его облепленная сединой густая борода, ярко отражающая солнце вчерашнего дня. Около 40 лет назад, когда ещё не было этой густой бороды, мне был знаком и подбородок, ещё юношеский, который теперь, как в футляре, хранился где-то в глубине этой бороды. Возможно, он тоже огрубел и был уже не юношеским, а солидным и чёрствым. Но он всё равно предпочитал хранить его далеко от взглядов тех, кто мог бы его невзначай узнать. Например, от меня, бывших своих однокурсников, которым хорошо был знаком острый угол, выписываемый контуром его подбородка, когда он стоял в выдуманной позе рядом с Кулиевым Вагифом, другим однокурсником, талантливым молодым человеком, подающим большие надежды, а тот, кто за ними наблюдал, видел его профиль. Таким был некогда Судаков

Коля, лишь бледной тенью Кулиева Вагифа, с которым он говорил только формально на равных, а на деле не мог составить ему даже сколько-нибудь серьёзной конкуренции. Теперь точно так же он ходил со своей подружкой, как некогда ходил с неразлучным с ним фаворитом нашей группы. И, в отличие от картины прошлого, подбородок его окружал теперь мягкий мех серебристой бороды… И не было рядом с ним Вагифа, который выбрал свободу вместо жизни среди комедиантов… Он утонул, не выйдя на берег, где ждали его жена с 3-летним сыном… Был сильный шторм в тот день, и Вагиф не умел плавать… Тогда это воспринималось нами, кто его знал, как непоправимая трагедия, а теперь Судаков Коля нежил свою серебряную бороду под солнцем, прогуливаясь не спеша под руку со своей подружкой, как будто он никогда не терял своих близких друзей, с которыми прогуливался под руку по коридорам университета перед сдачей экзаменов, вроде послушной тени…

Педагоги и однокурсники

1

Я вспомнил о Тариэле, особенно в последнее время, когда мы ещё встречались с ним. И вот что хотелось бы знать. Представлял ли он себя столь же чётко, каким было его изображение в зеркале, или изображение в зеркале стало расплываться, как и его внешний вид по сравнению с тем, что был он в молодости; волосы седели, лицо топорщилось, брови густели, взгляд серел и т.д. То есть его изображение в зеркале тоже расплывалось, и, может быть, поэтому он и сделал из длинных волос на затылке косичку, повязав её красной ленточкой, чтобы быть на что-то похож или, не на что-то, а на Моцарта, как говорил он, а ля Моцарт! Да, он был похож теперь чем-то на Баха, но без его гениальной музыки… А на Моцарта была похожа только ленточка на затылке, красная, как предупреждение об угрозе, чтобы не приняли его, кто видел с тыла, за Моцарта! Так как с фронта он был похож на Баха, но без музыки… А что такое композитор и, даже Бах, без музыки… Всмотритесь хорошенько в Тариэля и узнаете… Но было в нём это начало, проникновение в других людей. Он их чувствовал, как музыкальную композицию, и отличал одну композицию от другой. В лучших композициях он восхищался гармонией, а не в лучших или худших находил неудачные пассажи или фальшь… Одна из лучших композиций, которую он чувствовал, был Кулиев Вагиф, наш однокурсник, талантливый студент физфака. Пушкин, называл его Тариэль, и было что-то верное в этом определении, как и в том, что дал ему Вагиф. «Он кудряв», – говорил однокурсник, имея в виду склад мыслей, которые могли увести далеко… Поэтому и тогда зеркальное изображение отличалось аккуратностью, от которой далёк был духовный мир Тариэля, хотя и тогда у него были кудри на голове, но в них был порядок, не то что потом, когда он выдавал себя за Моцарта!

Но если вместо того, чтобы сужать его до границ зеркального изображения, мы попробовали бы растянуть его до пределов университета, то нашли бы в нём, без сомнения, и профессора по квантовой механике, и его ходячую среди студентов фразу «электронный газ», которой он, скорей всего, пускал пыль – возможно, электронную, – в глаза. И другого, ещё не ставшего профессором педагога по математической физике, прозванного за привычку чесать перед аудиторией яйца «Осёл» и связанного со своим предметом набившими в ушах оскомину альтернативами Фред-

гольма, и многих других... И ту студентку, Борисову Наташу из группы, которой «Осёл» предложил сделку, он ей отметку, а она ему… В общем, «Осёл» и есть осёл!

Увеличенный до размеров учебного заведения, Тариэль был, несомненно, интересней, чем его зеркальное изображение, хотя он немало дорожил и последним. «Ведь я не так плох, – как сказал другой однокурсник, сравнив его внешность с непритязательной внешностью декана. – Ведь он ошибся, наверное?» – спрашивал он, как будто я был знаток в оценке внешних данных своих друзей, одним из которых – и не самым далёким – он себя считал. Потом в него вошли и Моцарт, и Бах, и я… Но тогда был ещё Камю, и его рассказ «Посторонний», по которому Тариэль писал в течение 2 или 3 ночей сценарий, никогда не учась сценарному искусству. Просто взял и написал. «Понравился рассказ», – как он объяснял. Но, чтобы написать за несколько ночей сценарий, это не вмещалось в представление об однокурснике, и я заподозрил в нём неординарные способности. Часть из этих способностей виделась в его бесцеремонности... Когда он подошёл в толпе к родственникам покойного во время траурной церемонии на улице с нелепым вопросом «Здесь не мандарины ли продают?» И он поспорил, что может задать такой вопрос одному из незнакомых людей, что шёл впереди гроба. «Бессовестно издеваться над людьми в такую минуту, стыдитесь, молодой человек!» – парировал ошарашенный родственник, изменившийся в лице. А Тариэль спокойно вышел из толпы, не все участники которой поняли, что вызвало гримасу возмущения на лице человека, память об усопшем родственнике которого пришли они почтить. «Так бы и сказали, что нет мандаринов, зачем же возмущаться», – было написано на спокойном лице Тариэля.

У него ещё была мать, старая, которая ничего не слышала и всему верила. В частности, тому, что Тариэль хорошо учился и в общем был исправен, как студент. Хотя учился он не лучше тех, которые учились формально, вроде меня, приходящих и уходящих из университета, в чём и выражалась их учёба. А чтобы разобраться в альтернативах Фредгольма, для этого надо было внедряться в мир «Осла», упаси боже! Или разбираться в «электронном газе», не шутка ли это? Нет, на это у них не хватало духа, как, скажем, у Кулиева Вагифа, который щёлкал это, как семечки, проходя с улыбкой и мимо «Осла», и мимо профессора по квантовой механике. «А кто ответит на этот вот вопрос?» – как-то спросил профессор нашу студенческую аудиторию, задав каверзный вопрос, с виду простой… И стал подымать по очереди студентов – он был зол на нас, – чтобы ответили. А они поднимались, как истуканы, и глядели на него, немые. И тогда он поднял Вагифа, чтобы услышать ответ. Мы все замерли, что же скажет Вагиф? Неужели он всех нас выставит в идиотском виде? И Вагиф ответил одним только словом: не знаю! И профессор среагировал тут же; но если Вагиф не знает, то не знает никто! Может быть, это и послужило штрихом к портрету, написанному Тариэлем и выраженному словом «Пушкин». Но портрет, надо сказать, имел и некоторое сходство. И это уже характеризовало Тариэля, его умение схватывать главные черты в талантах современников, верно прочитывать заложенную в них информацию! Таким образом, что мы видим здесь? Крайнюю размытость портрета Тариэля ещё тогда, в студенческие годы, несмотря на некоторые способности. А, может быть, и благодаря им. Особенно его способности угадывать гармонию человеческого характера в тех проявлениях, которые выходили за общепринятые рамки. Портрет его терялся среди этих, более ярких портретов, тускнел и пропадал в их потоке … Что же говорить о его более поздних портретах, когда он после университета служил в Германии, выдавая себя среди гражданских лиц за итальянца…

Но позже, когда он занялся предпринимательством, возглавив какой-то колбасный завод в Воронеже,… а потом бежал в Баку, якобы от преследования… И всё это время мать его была жива, веря всем тем басням, которые он рассказывал, она была очень доверчива! И, наконец, здесь, в родном городе, он продолжал распадаться как внешне, так и внутренне… пока не дошёл до того, что попросил в долг денег, и т.д. Очевидно, что портрет его трескался; перепады температуры и прочее. А портрет, данный Вагифу, сохранился, потому что исчез Вагиф, утонув во время шторма в море, совсем молодым человеком, оставив здесь сына и жену… Но потом он дополнил причёску косичкой, повязав её сзади красной ленточкой… И ходил почти что в лохмотьях, ярких; белый поношенный пиджак, жёлтые брюки, красная обувь и т.д. И говорил, что мать его жива, хотя ничего не слышит, и он с ней общается через письмо, причём пишет большими буквами, так как она почти что не видит. Она любит кошек, и они приютили нескольких, среди них и котов, с которыми она общается, и в общем живут они вместе… Потом рассказывал, как хоронил кота, преданного друга семьи. А мальчишки с улицы подглядели и выкопали и измывались над трупом… А он выбежал из дому, отнял и захоронил в другом месте… Так что портрет его тянули как будто в разные стороны одновременно, и он вот-вот готов был треснуть… Да к тому же и уход за матерью… Чтобы согреть её зимой, он наполнял в пустые бутылки кипяток, заворачивал в тряпки и обкладывал её в постели … Косичка, несомненно, выдавала его сходство с композитором…

2

Сегодня Велиев Алтай, алгебраист, заговорил со мной. Но не как алгебраист, а человек, знакомый со мной издалека, в прошлом. Но теперь, когда прошлому тому стукнуло солидное число лет, расстояние между нами, как некогда знакомыми, уменьшилось. И мы стали уже ближайшими знакомыми из студенчества. И об этом он говорил. А напоследок сказал, чтобы я берёг себя и остатки своих волос … Ведь их так ничего совсем и осталось. А некогда было больше, когда мы учились. Он изменился меньше и сохранил свои волосы почти, что торчком на голове. Но тоже не избежал морщин, и ему так же, как и мне, под 60. Но все же ещё в форме как мужчина.

– Ты, значит, с работы? В университете преподаёшь? – спросил я.

– А что мы ещё можем? – сознался он в смущении.

И я понял, что он тосковал по мне. И через меня по всем тем, которых он знал вместе со мной и гораздо ближе, чем меня. Что я служил ему маяком по тому времени, которое выбросило его далеко вперёд, как и меня, не спросившись, вовремя ль оно это сделало. Конечно же, нет, хотел бы он сказать, но не мог. Это смущение было в глубине его души, на дне, где он переставал быть математиком. И поэтому он не извлекал его на поверхность, где оставался всё ещё математиком. Он хотел перестать им быть, чтобы измерить нашей общей памятью расстояние, которое мы прошли с ним по жизни с момента первой встречи, когда он увидел меня в коридорах университета. Теперь он с трудом находил моё сходство с тем юношей, что мелькал на задворках его памяти. Но он знал, что сходство это было, хотя и не мог найти, в чём! И поэтому он сказал, чтобы я хранил себя, имея в виду, на мгновение, и себя, что я был частью его, хотя и ничтожной, но которой он всё ещё дорожил. Но я отнёс его слова почти в то же мгновение к себе и поразился, что так заботился обо мне совсем чужой человек, который некогда всего лишь учился со мной.

Он слишком заботился обо мне, Велиев Алтай, выглядя в моих глазах совсем

неплохо. И тогда я подумал, что он, верно, может позволить себе так заботиться, так как я, на его взгляд, выгляжу на несколько ступеней ниже. И он может позволить так склониться заботливо надо мной. И тогда я посмотрел на него снизу вверх – мы и стояли на наклонной улице, я ниже, он чуть повыше, – и я заметил, как он всё ещё хорош собой с густыми чёрными волосами, стоящими почти что торчком на голове, смуглой кожей и прищуренными глазами.

Он растрогал меня искренней заботой о моей внешности. Чтобы я не терял своих волос более и хранил бы себя, хотя бы в том виде, в котором был, не меняясь к худшему или не так скоро, как всё это время, что прошло с момента первой встречи в университете или, по крайней мере, не скорей. Так он хотел сказать и смотрел на меня родственными глазами, как будто мы вышли из одной колыбели, а не учебного учреждения. И ещё мы вспоминали, кто учился с нами. Он – своих друзей, я – своих. И я не знал многих из его однокурсников, хотя и учился с ним в одном корпусе, я – на физфаке, он – на мехмате. Он же знал многих моих однокурсников. Рамиза назвал Ромой и что дружил он с длинным математиком, имя которого вертелось у него на языке, не останавливаясь. Ну, да ладно. Потом он его вспомнит. И, наконец, мы разошлись. Он сказал, приятно было вспомнить прошлое. И я почти то же сказал. А потом он добавил: береги себя. И я был растроган и удивлён, почему же я не догадался сказать то же и что, следовательно, вывел я, не имел я оснований так сказать, а он имел. И, значит, я хуже его в плане внешней видимости. Да, он хорош, отметил я, и имеет все основания так говорить. Тогда я молчу и отхожу в сторону. Но всё же, что он имел тут в виду… Неужели я так плох?... Что мне думать теперь о себе? Что он заботился или сочувствовал мне, моему положению скоро состарившегося сверстника… Кто поймёт?... И ещё он спросил, ты гуляешь иногда, кажется, по бульвару. На что я ответил, да, вспомнив, что мы встречались иногда на бульваре. И я всегда делал вид, что не узнавал его, хотя и знал. «Велиев Алтай», – сказал я, прощаясь, а он, извинившись, спросил моё имя, которое я сообщил ему, и мы, пожав друг другу руки, расстались…

3

Встретил бывшего педагога, профессора Мухтарова. Он улыбнулся и сказал, что помнит меня… А я хотел сказать, проснитесь, профессор, и мы вернёмся в тот день, когда я был вашим студентом, а вы моим цветущим педагогом. Но вместо этого я сказал, вы выглядите совсем неплохо, хотя и ковыляете, опираясь на палку. Взгляд ваш ясен и весел. Вы ковыляли, весело озираясь по сторонам, пока не встретили меня. Сколько воды утекло в физике; создана перенормируемая теория и, наконец, суперструны… А вы всё мечтаете внести вклад в этот бешено несущийся экспресс человеческих знаний, вы, еле ковыляющий с периодической опорой на палку… Проснитесь, профессор! И мы вернёмся в тот день, когда я был вашим студентом, а вы моим, в самом расцвете сил преподавателем. И нечего было нам гнаться за сверхскоростным экспрессом человеческих знаний… Вам надо было лучше рассмотреть нас, а нам вас и узнать, а не озираться без толку по сторонам, как мы это делаем и теперь… Теперь я в вас ценю человека, не падающего ниц под тяжестью лет, а опирающегося упорно на палку, а вы во мне – своё прошлое, которому вы не хотели изменять и потому сказали бодро, я вас узнал, хотя едва ли узнали… Вы узнали только, что это прошлое тоже стареет. И тому прошлому больше лет, чем вам было в прошлом, где мы с вами уже встречались когда-то …

4

Н. показывает студентам беззубый оскал с одним гнилым, сохранившимся в нём осколком зуба и внешнюю непривлекательность свою и внутреннюю несостоятельность, то есть, что с ними будет, если они последуют за ним, его наставлениями. Что видят в нас студенты? Не то же ли, что видели мы, будучи молодыми людьми, в педагогах – безрадостное пыхтение и непонятную строгость. Тогда мы ещё не понимали, что это в то же время и безрадостное будущее, которое настигнет нас. Нет, связь наша с ними, этими пыхтящими и злопыхающими мужьями, тогда ещё не была видна. И мы думали, что изготовлены из другого теста, с совершенно иным составом, испускающим из себя аромат, а не скверный дух, который исходил от наших наставителей. И что же? Теперь мы оказались в их положении, когда молодёжь от нас воротит носы, думая, что они замешаны на тесте совершенно нового состава! Но, увы. Пекарня-то одна, и состав теста со времён Адама ещё не менялся. Но они узнают об этом так же, как и мы, увы, слишком поздно. И едва ли это будет радостным открытием.

5

Идя в институт, встретил бывшего преподавателя «Физика твёрдого тела» – вот что он читал. Тогда он был на коне – профессор – и на виду у всех, а мы?... И, в частности, я? Что я был, не осознавший ещё себя, куда направить силы... И поэтому чувствующий неполноценность свою перед полным сил профессором. А теперь он был немолодым и несколько сморщившийся, не совсем, правда, дряхлый старичок, но уже идущий в этом направлении, незаметный для других, возрождающейся жизни... Кругом цвела весна и зеленели деревья, но в академике – он был академиком – суровая осень, и он медленно увядал... «Здравствуйте, Б-м муаллим, – приветствовал я. – Я был вашим студентом». «Когда это было? – спросил он. А потом добавил, – я тогда только начинал». «А теперь уже всё? – хотел я спросить. – Неужели всё?... – и произнес: – А не помните ли вы КВ, он был лицом группы, талантливый молодой человек, который на последнем курсе отправлен в Дубну, защитился через 2 года, потом женился, у него родился сын. А на пляже – ему не было и 30 ти – куда он отправился с женой и маленьким сынишкой, утонул. Выкупал ребёнка, а потом зашёл в воду, чтобы ополоснуться и не вернулся...» «Да, что-то припоминаю, но боюсь соврать», – сознался академик. Он был в себе, осенней фазе жизни. «Что ж, будьте здоровы», – бросил я на прощание. И вдруг защемило, когда я отошёл. Стало быть, он ничего не помнит, как будто ничего и не произошло. А ведь мы, КВ... Тогда он грозно глядел на нас, вернее, на меня как на нерадивого студента и благосклонно на КВ, ещё бы; КВ вопросами едва не ставил его в тупик, из которого он выходил с оговоркой – ну, да, здесь, пожалуй, порочный круг... Ну, в общем, КВ был боевой единицей, которой мы поверяли крепость преподавателей. А теперь он забыт. Кем? Академиком, одним из уважаемых преподавателей, казавшимся приобщённым к сокровенным тайнам науки. Да, он витал тогда в облаках, а под ним проносились имена, известные в физике... Но и он не вспомнил КВ, а значит, и забыл всех, которые следовали, те, кто посмелее, тут же, те, кто робей, несколько позже, за КВ. И теперь вся группа оказалась под покровом забвения бывшего преподавателя, а сколько было потрачено сил, чувств, времени, не шутка, 30 человек молодых людей. Кто заблуж-

дался, кто нашёл путь в будущее; один отчаялся, другой не расстался с детством, кто влюбился, кто женился, кто был брошен, всех не перечесть, это огромный поток человеческой жизни, молодой, полной сил, надежд и мечтаний о будущих свершениях... Но ничего этого не сохранилось ни во мне, ни в бывшем преподавателе... Всё закончилось, оборвалось, вся группа сгинула в печальном блеске глаз преподавателя. Он вынес последний приговор...

Встреча с преподавателем произвела на меня впечатление, и причиной тому была в немалой степени нынешняя его слабость. Он был стар, и силы покидали его, не в пример тому, когда был молод и полон сил. Тогда наличие сил придавало ореол надменности, которой он ограждался от нас, особенно студентов, вроде меня, не ценивших эффектных выходов к нам во время лекций. Теперь же он поблек и лишился сил, и это нас объединяло. Его слабость снимала оболочку надменности и оболочку взыскательности, и мы общались как 2 человека, имеющих в прошлом, далёком, общую точку соприкосновения...

Призрак школы

Сегодня я, наконец, вошел во двор школы, той, в которой учился 40 лет назад. И меня поразило, что двор тот с тех пор как будто не изменился. И нисколько не изменилось и всё то, что казалось мне неизменным; и это последнее, как ни странно, тоже. Все слои моего восприятия были, пожалуй, что неизменны; и поэтому последний их слой резко контрастировал с той внешней оболочкой, которую в этот момент представлял собой я; так как я уже был, конечно же, далеко не тем, что и 40 лет назад. Даже в моих снах были заметны те субъективные изменения впечатлений, какие свойственны всем снам, не исключая и тех, посредством которых я порой все же возвращался в свою школу. А тут меня привели мои же ноги, которые, увы, конечно, уже были не теми, что и 40 лет назад, и я увидел благодаря им школу, которая оставалась такой же, как и тогда. Даже известка на каменной ограде возвышавшихся над игровой площадкой газонов была той же самой. Это были те же самые, слегка ощетинившиеся камни невысокой ограды, покрытые белой известкой, которую, как оказалось, я так хорошо знал. Школьный двор смотрел на меня, как, примерно, и 40 лет назад, но я чувствовал, что я смотрю на него совсем по-другому, и мне было немножко стыдно от этого. Оттого, что я не искал нового повода для игр; но выискивал грустный повод для воспоминаний. И это говорило об изменениях, которые произошли уже во мне; и я почти что с некоторым даже страхом, как об щит, натыкался на неизменность, окружавшую меня здесь. Эта неизменность служила мне тем идеальным зеркалом, в котором я видел теперь свой преклонный возраст. Вон там, у каменной ограды, чуть правее от её центра, меня побил некогда очень гадкий мальчишка из параллельного класса. Мы были тогда 10-тым первым; а он был из чуждого мне 10-го третьего. Он был высок и силен и, как мне теперь всё больше представлялось, красив. Я же не был достаточно высок и, тем более, уже хотя бы силен. Да что и говорить, я струсил тогда! Я не мог дать ему сдачи. Он прижал меня к каменной ограде и отлупил – несколько лёгких пощечин – и ушел. Как будто не дал себе труда заняться мной посерьезней. Я помню, что хотел понять тогда и хочу понять и теперь, что же он чувствовал в то время? Кто я был в его глазах? Червь? Мусор? Или, может быть, просто тюфтя? Интересно, где же он теперь, и удалось ли ему также легко продвигаться и в жизни? Или он тоже потом споткнулся, упал?... А

те газоны на левом возвышении мы некогда вспахивали то ли на уроке труда, а то – на биологии; а может быть, на одном из полюбившихся нам субботников. Но я помню, что работа там была поучительней наших уроков. Мы познавали таким образом алгебру неброского повседневного труда. Чуть дальше, у побочного входа в главный корпус, я беседовал как-то с учителем по физике. Михаил Аркадьевич – так, помнится, его звали. Когда-то, очень давно, он был, кажется, на войне. У него был большой прыщавый нос и зеленоватые глаза, и он любил называть меня Галилеем за мою страсть и тягу к физике. Там я и спросил его, когда же, наконец, мы начнем изучать оптику и что же такое есть спектр. А мы изучали в то время электричество, и у меня набило, на слуху, оскомину имя Ампер. В отличие от тех дней прошлого это казалось теперь бессвязным набором воспоминаний, а тогда было, как и не в шутку представлялось, всей моей жизнью. Вот и вся разница, которая произошла за эти 40 лет. Что тогда было моей якобы жизнью, превратилось теперь в груду воспоминаний. Я и сам стал за эти годы своим воспоминанием, похоронив себя в себе же. Каждый раз, засыпая, мы, как стало теперь очевидно, устраивали малые похороны, которые проходили незамеченными, мимо нас. За 40 же прошедших с тех пор лет все это превратилось в нескончаемую похоронную процессию. И я чувствовал, что во мне погребены все мои прошлые игры, как и мои мелкие обиды. И я тосковал теперь по своим прошлым обидам, потому что вместе с ними я бы мог воскресить и свои детские игры. Но, увы, те обиды были так же неуловимы, как и всё остальное, и во мне шевелилась теперь меланхоличная скорбь по ним. Некогда сплошное кольцо, составленное из моих игр и обид, распалось на части, и невозможно было собрать его; всегда недоставало какой-то существенной череды звеньев, непонятно куда и как запропастившихся. Прямо перед самым входом во двор сидели давно уже как небритые сторожа. И один из них тоже окончил нашу же школу. Он-то и спросил меня, знал ли я некоего Мелика. Потом он назвал еще одно не знакомое мне теперь имя. И был он, как мне показалось, весел, как начищенное до блеска колесо! Возможно, что он помнил все до мелочей, в отличие от меня, и поэтому не видел никакого повода для скорби.

Уловки воображения

Вчера приходили Мая, ее дочь, Сева и ее племянница Шейла – ребенок лет шести. Все трое, хотя и разных поколений, были красивы; и было красиво при взгляде на них и сознание их красоты; и было приятно от этого осознания и т. д. Поэтому-то, казалось бы, незначительная их красота усиливалась, проходя через многочисленные зеркала сознания и откладываясь понемногу в памяти. Вместе с ними за столом сидела и Соня с длинным в профиль носом, который был, очевидно, некрасив; и еще некрасивей было сравнение его с красивыми носами; и от этого он становился ещё некрасивей; и сознание это почти вдвое ухудшало его и т. д. Так что некрасота ее, все больше отражаясь между зеркалами сознания и памяти, могла бы стать почти что невыносимой. И я намеренно приводил ее к этой черте, потому что не хотел видеть в ней больше ничего хорошего. А в тех трех девицах я хотел видеть больше того, что в них было; и я действительно это видел. И от этого разница между ними становилась почти что непреодолимой, хотя в то же время я понимал, что это – пустяк! Что разница эта измерялась в лучшем случае в миллиметрах, а в худшем – в сантиметрах. Я даже знал, насколько сантиметров и как можно уменьшить нос Сони,

чтобы она могла недурно смотреться рядом с Севой; но я намеренно не хотел думать и тем более помнить об этом, пусть и мизерном различии. Потому что Соня была как будто бы пока что вся в себе. И, будучи в себе, она не становилась от этого лучше, то есть ее внутренний мир как бы не украшал ее нисколько. И поэтому казалось, что он, наоборот, ее портил. И что вообще он был хуже ее внешности. И зачем же тогда, спрашивалось, погружаться в него, если он не лучше того, что уже было. У Севы же, напротив, казалось, что не было никакого внутреннего мира, и что она целиком была обращена на нас. И от этого хотелось ещё больше поощрять ее, чтобы полностью обратить к нам. И она пока что не противилась этому. И от этого она становилась ещё лучше, чем была, хотя и была она тоже неплохой. Поэтому-то я и беседовал в основном с Севой и обменялся при встрече с ней и ближайшими родственницами общепринятыми у нас поцелуями, пока Соня только оглядывала нас, находясь все время мысленно в себе. Но когда эти 3 красавицы ушли, я заговорил со своей родственницей, и она стала послушно поддакивать мне головой. И мне подумалось, что она, конечно же, ничего не знала о том, что мысленно проделал с ней я, и она показалась от этого лучше, неожиданно украсившись сознанием своей невинности. Но потом разговор наш понемногу пристал к тем берегам, на которых обитал ее длинный нос, и мне стало скучно переправляться с ним к вожделенным краям. И уже не в силах бороться со сном я немедленно после этого отправился спать.

Рефлексия

Только что заметил, что в глазах других я могу быть отличным от того, чем являюсь в глазах собственных. Я увидел себя в глазах нашей секретарши; в ее поистине лицемерных глазах. И я поразился собственному лицемерию, отраженному в тех ее глазах. В ее глазах я был лишь ничтожеством, копающимся в собственной грязи. И, чтобы смыть с себя это наваждение, придя домой, я снял с себя одежду, чтобы обнажить в себе всё то, что я, как мне казалось, всегда любил. Какая же из этих граней реальности была истинной: та, что возникла сейчас передо мной, или то, что я увидел в ее глазах? То, что я увидел, не имело, как мне казалось теперь, права на самостоятельное существование. Но ведь ее глаза существовали, и что в них было отражено, тоже в силу этого становилось реальным. Может быть, и не столь привлекательным, как то, что жило во мне глубоко. Но все же, отразившись в ее глазах, оно теперь обретало право на самостоятельное существование. Я уже существовал в мире, нарисованном в тех ее глазах и непривлекательном для себя виде. Так кто же я был, на самом деле? Тот, кого я видел, или кого видела во мне она? Почему же я должен был считаться с тем, что видела во мне она, когда на самом-то деле я был иным? Но кто еще знал меня таким, каким видел себя я сам? И было ли у меня окончательное представление о себе? Вот в этом и состояла вся разница, что я никогда не спешил к окончательному выводу о себе, великодушно давая себе возможность развиваться, но отнимал в то же самое время эту же возможность у других, забывая, что они тоже могут изменяться. В моем представлении другие были начисто лишены будущего, а я представлялся вместе с ним и поэтому явно и во всем их превосходил. То, что я увидел в глазах нашей секретарши, было, к моему сожалению, суровым приговором, потому что в этот момент я исподволь занимался обманом ее любовника – заведующего, и она этот момент чутко засекла и жестоко меня за это осудила. Но я не мог смириться с этим, как казалось мне очевидным, поспешным представле-

нием, потому что в нем не было достаточного места ни для одного моего, более или менее, справедливого возражения. Почему же заниматься обманом было дозволено только ему, причем открыто и не таясь. А мы, когда и занимались этим и, как всегда, исподтишка, за нами следили бесстыжие глаза его любовницы? Но, пожалуй, это могло бы служить аргументом только против него. И то, если бы он принял это во внимание, а он скорей всего едва ли бы это сделал, ведь он мог без зазрения совести этого и не делать! Но вряд ли это же самое могло быть веским аргументом и в защиту меня. Увы, надо было признать, что в одной из многочисленных граней реальности, возможно, что самой незаметной, узкой или хрупкой, отразился, как ни удивительно, я, во всем своем неприглядном естестве. Я исподволь занимался в то мимолетное для себя время обманом. Но почему же? Потому ли, что обман тот был мне навязан извне? Тогда почему же я не мог прервать его там, где стоял в этот момент я сам; на этом же самом звене? Наверное, потому что тогда прервалась бы вся цепочка, и волна, идущая с начала, не достигла бы ее конца. Я безумно хотел служить той поистине абсурдной идее, согласно которой волна, идущая с самого начала, во что бы то ни стало должна была оказаться в один из неуловимых моментов на ее конце. Я не хотел стать помехой на пути этой волны и не хотел думать, что она являлась всего лишь обманом. Не обманом, конечно же, моего не самого лучшего зрения. Но обманом по своей сути и в том смысле, что нам всем невольно казалось, что волны эти принесут успокоение. На самом же деле они несли упадок и лишь крупицу удовлетворения. На самом деле эти волны были никому не нужны, но никто не решался прервать этой цепочки на не выгодном для себя звене, где стоял в этот момент он сам. А удивлялся, почему же она не прервалась на предыдущих звеньях, и продолжал питать всеобщий обман, который передавался с начала этой цепочки к самому её концу.

Но когда я увидел себя в глазах нашей секретарши, это, увы, уже не было обманом. Это было лишь гнусной реальностью. И состояла эта реальность в том, что я занимался исподволь обманом. Почему же так непривлекательно выглядел человек, строящий исподтишка козни? Почему я все время мирился с собой, пока не увидел своего отражения в ней? Неужели же мне на самом деле нужны были ее лицемерные глаза, чтобы увидеть себя в них со стороны? Но при этом я не был признателен ей за это поразительное открытие. Наоборот, я невзлюбил ее в тот момент, когда заметил, как я, хотя и мимолетно, отразился в ее лживых глазах. Но никто бы не смог так же точно схватить меня в этот, не самый лучший момент в моей жизни. Она была в это время, пожалуй, самым чутким художником, наблюдавшим за мной со стороны. Все мои недостатки, какие множились и соединялись в причудливые фигуры, образуя меня, отразились, как в объективе, в ее маленьких зрачках. И она унесла с собой это незавидное обо мне впечатление. Теперь, вероятно, я живу в том самом мире, который я хотел бы поскорей забыть. Но из-за этого забыть его мне будет нелегко. Ведь она будет всегда напоминать мне о нем.

Любовнику же ее жилось, конечно же, куда как лучше, чем всем нам. Обман проходил незаметными волнами мимо него. Если надо будет, он отомкнет любое не угодное ему звено, и обман тот тотчас же прекратится. Поэтому в ее глазах он был чист и беспримерен. Ему не пристало, как и всем нам, исподволь заниматься обманом. Он этим обманом играючи руководил. А она следила за ходом его, когда мы видели свое отражение в ней.

В глазах другой женщины я не был так отвратителен, как стал впоследствии в глазах нашей секретарши, и этой женщиной была на сей раз другая коллега по ка-

федре. Она с улыбкой на лице заметила, что я изрядно промок. Сегодня дождь лил, как из ведра, хотя и было начало лета, и все ждали сухой жары. На деле же была мокрая прохлада; слишком мокрая, чтобы выйти сухим из воды, и моя коллега заметила это с милой улыбкой на лице. В ее глазах не было осуждения за то, что я промок, и я заметил легкий намек на некое подобие симпатии в ее великодушных глазах. Как бы я хотел еще раз воскреснуть в этих ее непритязательных глазах! Неужели же я и впрямь был в них столь непорочен. Но, пожалуй, это стало возможно благодаря тому, что порочна была она сама. Ведь она тоже, как и я, исподволь обманывала того же, что и все мы, а на деле казалась такой состоятельной, что можно было аж заглядеться на нее... Но как бы то ни было, я хотел бы продолжить свое существование только лишь в ней, а не в другой. И как же мне продлить теперь свою жизнь; что взять мне вперед на веру... Право же, я всё время путаюсь и, пожалуй, что вновь хочу воскреснуть и на сей раз уже только в себе...

Воспоминание о Нармине

Когда я, приехав из Москвы, выходил из такси, я выронил впопыхах дорогую бутылку с водкой. Я положил ее перед этим на коробку с куклой, запихнутую в полиэтиленовую сумку, и она нечаянно соскользнула с нее. До этого, в Москве, на эту же коробку с куклой я водрузил свою кепку, проходя тамошний осмотр, и чуть позже, в самолете, не нашел кепки и не без оснований предположил, что она соскользнула с коробки, когда сумка свалилась набок на движущемся транспортере. Когда разбилась водка, я не мог понять, как я вторично допустил ту же ошибку, что в первый раз привела к потере невзрачной кепки, а во второй – к утрате соблазнительной бутылки. Неужели же я настолько не владел собой, что не мог организовать разумную последовательность своих действий? Как же я мог положить на ровную поверхность игрушечной коробки неустойчивую по форме бутылку? Я все еще думал об этом, пока с водителем такси подъезжал к дому, чтобы, взяв у домашних деньги, расплатиться, наконец, с ним. Водитель любезно предложил; мол, будь, если хочешь, моим гостем; но я ответил, что он тоже с не меньшим успехом мог бы стать моим, и отдал положенное. В голове моей крутилась в это время последовательность нелепых действий, приведшая к поломке дорогостоящей бутылки. В состоянии однообразной умственной работы я не заметил сначала племянника, вышедшего навстречу, чтобы, скорей всего, обнять меня, а потом и слова сестры: «Умерла Нармина». «А, да, очень жаль!» И я снова продолжал крутить в уме разбитую бутылку, пока она была ещё цела, не понимая, как я мог доверить ее ненадежной поверхности игрушечной коробки. Умерла Нармина – об этом я ещё успею поскорбеть; этого мне, конечно же, больше не вернуть. Но как могла соскользнуть из моих же рук симпатичная по форме бутылка, смогу ли я это тоже когда-нибудь понять? Да, жаль, конечно же; очень жаль. Надо бы было взять ее в руки, а не нагромождать на легковесную коробку с куклой. Эта коробка уже сыграла неприглядную роль в Москве, и не надо было подвигать ее на подобные же действия.

Нармину я видел перед самым своим отъездом. Она сперва лежала, потом сидела на кровати, и мы с ней премного шутили. Потом ее сын принес по указанию матери чай, и пока мы всё ещё шутили, что спровоцировало ее сесть на свою кровать, заметил, что мать его похудела. «Посмотри на себя, какая ты худющая стала», – сказал он с нелепым мальчишеским участием к ненормальному состоянию своей матери,

хотя и сам был по сравнению с ней тоньше – худосочный и не ко времени вытянувшийся подросток. Потом она сняла чепчик, и я увидел ее лысою. Или, верней, сначала мальчик сказал, что она стала уже больно худа, когда она, успокоившись, уселась на свою кровать и потом сняла свой тонюсенький чепчик и улыбнулась, спросив; ну, что, не очень я стала теперь страшной? Нет, она ещё не была страшной; просто немного походила на манекенов из модных магазинов – сухая и высокая, – на безволосых манекенов! Я принял ее такой, какая она и была, не пытаясь сопоставлять ее ни с чем, а тем более с той, которою она была раньше. И поэтому она облегченно вздохнула, усевшись на краю своей кровати. А чепчик она сняла ещё раньше, и когда заметила, что я ее принял, уселась на эту, ставшую ей теперь родной кровать; и тогда-то вот мальчик, пожалуй, и сказал, что, мол, посмотри же хоть внимательней на себя, как ты похудела! «Ну, разве так можно?» – добавили чуть погодя его глаза; и еще что-то, что невозможно было разглядеть; что было смесью незаметных упреков и сожалений.

Если бы я только мог вернуть поломанную мной бутылку, я ощупью пошел бы и дальше; и кто знает? Может быть, мне удалось бы вернуть и Нармину. Ведь, когда я уезжал, она была ещё жива; мы вспоминали с ней наших общих знакомых; и мне казалось, что жизнь ещё кипела в ней. Но в ней тогда уже урчала смерть, и об этом я узнавал, увы, только сейчас. Но по нелепому стечению обстоятельств именно сейчас я больше всего горевал о разбитой бутылке, чем по умершей, всего-навсего, неделю назад несчастной Нармине. Потерянная кепка, разбитая бутылка и умершая совсем, совсем недавно Нармина – это один ряд, ни одно звено которого, увы, уже не будет мне больше доступно. Бог с ней, с кепкой, не ехать же за ней теперь в Москву? Но если бы мне удалось вернуть хотя бы разбитую бутылку, я, пожалуй, смог бы чуть больше поскорбеть и о Нармине. Еще 2 дня продолжались мои мучения, после чего я, наконец, сдался. Нарядная бутылка выскользнула из моего сознания, но место ее заняли другие не менее, однако, суетные мысли. Теперь я ищу всех тех, кто видел покойную Нармину в последние минуты ее жизни. Как-то она говорила мне по телефону, что однажды, когда ей было очень плохо, она взмолилась богу, и болезнь отпустила ее ненадолго. Все последующее время она чувствовала себя гораздо лучше. Перед смертью ей сделали морфий, чтобы снять хотя бы немного боль. Может быть, тогда она снова почувствовала освобождение… от всех нас…

Склеенные портреты

1

Меня занимала недавно особенность в лице кума Таира, заключавшаяся в его толстогубии. Губы и надгубия его были толсты. И я думал, не мешало ли ему это произносить слова и вообще мыслить, то есть, не так ли он был толст и в своих мыслях, как в губах. И поэтому я спросил, кем он работал. И оказалось, что он был инженер по компьютерной технике, которая сложна, я думал, и совсем не груба, что не вязалось с толщиной его губ… Однако, что у него была аденома и был он в разводе с женой, это к его внешности подходило, такого можно было бы и бросить, я думал … И, хотя нижняя часть его лица была груба, так что мешала речевой функции, но, чем

выше следовал мой взгляд, тем как будто бы он всё больше сбрасывал с себя этот лишний груз, так что веки его вроде бы были только лишь незаметно толще обычных... А голова, на голове уже больше выявлялось отсутствие волос, чем буйный их рост, который был бы более естествен для согласного соединения с нижней частью лица. И этот недостаток волос, намекавший на возникающую плешь, напоминал как бы и о его жене, которую он столь же по недосмотру от себя отпустил ... И теперь он остался с толстой губой, плешью, аденомой, правда, вылеченной, и матерью... Но о чём он думал, разве я мог это понять? Я, который отличался от него только тонкостью губ. Как он жил и что чувствовал? А, не поняв это, мог ли я сказать, что видел этого человека, что жил я в тот момент, когда беседовал с ним, а не спал? Ведь я не видел его, не знал о нём ничего, кроме того, что у него были толстые губы и зовут его Малик. И всё; да, и ещё, что он инженер по компьютерной технике. Но, если бы я мог видеть, как видел, например, он себя, тогда и я бы мог уже кое-что о нём сказать. И о себе тоже; что, по крайней мере, я жил в этот момент, когда сидел рядом с ним, за одним столом... Человеческие лица должны всё же говорить больше, чем они говорят. Надо заставить их говорить... А для этого надо изучить язык носа и губ, бровей и волос и ещё того, что и не приходит в голову. Но пока мы этого не будем знать, никогда не откроем тайну другого человека, тайну, которая скрыта за внешним единством его лица. Потому что за этим лицом – что противоположно ему и где нет этого упрощающего единства, которое мы видим. А что распадается и разделяется на отдельные мелкие части, сходство которых с внешним обликом, за которым они скрыты, весьма отдалённо и едва ли однозначно...

2

Теперь мне понятно, что искусство колеблется на стержне, одним концом упирающемся в науку, а другим – в сны. И вчера, отдалившись от науки, я упёрся в свой сон, в котором видел Вели и его необычный разговор. И, странно, я ему массировал рот, косвенно как бы приближаясь к словам, исторгнутым им. В общем я был далёк от науки и реальной жизни и был целиком во власти сна... И думал, может быть, это и есть искусство, уход от трезвости науки и вход во владения сна... И можно производить искусство, будучи на обоих концах этой шкалы или в её середине ... Ведь, уходя на глубину сна, мы живём по другим законам, нежели в реальной жизни. Значит, возможна жизнь и по этим законам, которые мы не в состоянии охватить сознанием. Но как по ним строить произведение искусства?... И возможно ли это?...

К этому же типу состояний относится и высказывание Адиля, как худа старость, вырвавшееся у него недавно на рабочем месте. Как худа старость, сказал он совершенно искренне, словно познав все стороны своего нынешнего этапа жизни. Как худа старость, сказал он, тряся своей сединой на голове и садясь на стул. И мы, его коллеги, тоже видели лёгкие признаки старости на его лице... Как худа старость, думали мы, глядя на него и ощущая задатки её в себе. Ведь когда-то, а если честно, ещё совсем недавно, мы были молоды; ну, уж, куда моложе, чем теперь. А теперь мы безуспешно глядим вокруг, пытаясь вызвать к себе интерес. Но вызываем в лучшем случае сочувствие или вежливое отклонение. То есть мы не участвуем больше в массовой драме жизни. Мы теперь только духи, стоящие на некотором отдалении от неё. И поэтому Адиль и сказал, опустившись на свой рабочий стул, как худа старость, выпустив из себя всё своё отношение к ней...

Интересен Адиль в попытках собрать отдельные свои распадающиеся части в то, чем некогда он был раньше, в относительной молодости. Тогда хоть был он и не целен внутренне, но воспринимался знавшими его, как нечто осмысленное, что скреплялось его внешним обликом. Тот внешний облик, который был у него прежде, соединял все его несогласованные части под своим началом. И, значит, единство ему придавала эта внешняя видимость, которая, вступая в союз с внутренним несогласием, давала ему кажущуюся цельность. Теперь же его внешность рассыпалась под давлением возраста, и он пытался сохранить свою цельность, пытаясь устранить все внутренние несогласия. Но молодые люди, глядя на него, видели только разброд внешности, и им недоставало терпения добраться до наведённой им внутренней согласованности. Да и мы, его ровесники, не всегда чувствовали внутреннюю согласованность, которую он создал, исходя из своей предыдущей жизни, видя, как он сгибается под бременем старости. И, стало быть, за цельность человека больше отвечала его внешность, которая упруго соединяла все стороны его внутренней несогласованности. И мы хотя и знали это и отдавали предпочтение внешности, но всё же почему-то любили говорить о внутренней гармонии человека и о мнимом её преобладании над тем, что мы видели …

3

Приходил Самир поздравлять с тем, что мне стало на 2 года больше, чем 60, и ему осталось полгода до такой же точно даты. То есть это уже окончание жизни, которое не может в общем-то радовать. Но есть извивы в общем потоке времени и локальные углубления, противные ему, когда забываешь о старении поколения, к которому принадлежишь, и тогда охватывает обманчивая молодость, соединяя с годами, отстоящими на несколько лет раньше. Подобное ощущение может нахлынуть везде; и в камере заключённого, и перед грозящей стихийной опасностью, и тогда мы действуем не в соответствии с создавшейся обстановкой или возрастом, а то и должностным положением своим. Поэтому и поздравляем друг друга с 62-летием, хотя и знаем, что катимся в пропасть. Но не от этого был возбуждён Самир, когда сидел сегодня за столом, окружая себя ожерельем из жестов рук и щелчков пальцев. Да, движения его тела не соответствовали спокойствию домашней обстановки и вызывали желание узнать их причину. Почему он делал гораздо больше движений, чем требовала от него дружеская обстановка нашего дома? Что это? Укоры совести или следствия пьяного угара? Нелады в семье или расколы в здоровье его или членов семьи? Но жесты его были куда богаче, чем скромные его слова, чем история всей нашей дружбы… Они указывали на дополнительный источник, которого не было в ней. И он, чувствуя, что не справится с ним, тем, что заставляло руки его вышивать узоры перед лицом за столом, поспешил удалиться. И я не остановил его, видя, что он, как брошенный кем-то камень, летел в пропасть! Но, когда он ушёл, мне стало грустно от сознания, что он, как и я, мы оба дрожали под напором грозящей нам старости, волнение которой уже слышалось за нашими спинами. И не могли уже, как раньше, общаться друг с другом, когда говорили вполне естественные слова. Нет, в слова наши теперь вплеталось дребезжание старости, и все жесты и взгляды наши, и выстрелы рук, всё это было покрыто либо толстым слоем старости, либо же поднято на дыбы неровным всплеском волн её …

Промах

Вчера я лишился своей привычной внешности одним необдуманным поступком, я сел на свои очки, которые бросил на диване, просматривая задачи из учебной литературы. И – жвых! Они подпружинились в последний раз подо мной и раскорёжились, как клешни раздавленного рака. Я примерил другие очки. В них я был похож на водолаза в скафандре. Вот будет пища для студентов лишний раз насмеяться над своим педагогом! За умом которого скрывались концы его очков. А теперь он похож на рыбу, попавшую в водоём. Что и говорить! Я чувствовал себя ужасно. Как приманка для пираний, которые завтра же на лекции с потрохами меня сожрут. И так я еле сдерживал их хищные порывы. А теперь, с этим откровенным признанием своей беспомощности, как я выдержу резкий шквал их непослушания. Я буду съеден ими без единого остатка своего достоинства. Двое из них – высокие парни – приходили за мной на кафедру, сообщила секретарша. «Знаю я их, – ответил, – высоких тех парней, что были насмешниками на лекциях, а теперь приняли облик моих питомцев». «Помогите нам», – обращались они ко мне без единой капли иронии. И я обещал им помощь, проникнувшись сочувствием. Но тогда я был в своей лучшей оболочке, не то что теперь! Как они воспримут перемену на моём лице, которая как гиря тянет меня на дно водоёма. И опять мастер, мастер улучшать лица пришёл на помощь, когда я побрёл к нему поздно вечером. «Он на поминках за городом, но обещал вернуться, – сказал его коллега по ремеслу. – Так что оставьте очки, он их посмотрит». И он их осмотрел, а к утру они уже были готовы, и днём я видел в них мир и себя в этом мире ещё не совсем раздавленным, с шансами если и не на успех, то, по крайней мере, остаться целым и не сплошь оплёванным, каким чувствовал себя вчера, лишившись привычной для себя и остальных внешности.

Шахматист

Видел в одном из долгих и содержательных снов Тарлана, скульптора. И его мастерскую, и свет в мастерской, и её коридоры, и коридоры близ неё, и пространство, напоминающее о его друзьях-художниках, как будто их мастерские были продолжением его мастерской. Но удивительно, что Тарлана самого в мастерской не было, но было ощущение его присутствия и сведения, что Тарлан играл в шахматы и настолько хорошо, что участвовал в каких-то шахматных турнирах. И многие из его знакомых художников сталкивались с ним, как с шахматным партнёром, и, возможно, что по этой причине его и не было в мастерской; он участвовал в каких-то шахматных баталиях. И, поскольку в действительности Тарлан был далёк от шахмат, то есть почти что не имел с ними ничего общего, то я, столкнувшись с этим фактом во сне, фактом его неотъемлемости от шахмат, представил себе Тарлана, мысленно вызвал его лицо в памяти – тоже во сне. И поразился, заметив, что его лицо намекало на причастность его к шахматам, а я этого почему-то до сих пор не замечал. И намекали на причастность к шахматам и пышная его борода, и густая шевелюра, и между ними светлые просветы кожи. Ведь что всё это, как не сочетание белого и чёрного, такое же, как и на шахматной доске, сочетание её клеток, чёрных и белых! Как же он мог быть далёк от шахмат, если шахматы были отпечатаны на его крупном лице? Ведь он почти что ходячая шахматная доска, и если приглядеться повнимательней, то можно различить и позицию шахматной партии на ней, игранной им, самый её конец, эндшпиль,

вот что я думал… А потом, проснувшись, подумал, как же я не замечал эту родственную связь его с шахматами, и что лицо его, особенно в профиль, напоминало оттиск шахматной доски вместе с окончанием на ней партии… Но ведь в действительности не было этого, и его сращённости с шахматами, которую показал мне сон. На что же он намекал тогда? Что общего было у Тарлана с шахматами, чего я не замечал в жизни? В жизни была у него связь с крепкими напитками, причём очень тесная, почти как и со скульптурой или живописью и эскизами к ним… Но эта связь, которая доминировала в жизни – я имею в виду со спиртными напитками, – игнорировалась во сне, а на 1-й план выступала его природная связь с шахматами, которая была отчётливо отпечатана на его лице. И даже связь со скульптурой отступала назад перед его непосредственной связью с шахматами. И я думал, что сон тем и удивителен и замечателен, что позволяет вскрыть внутренние связи, которые мы не способны определить в жизни. Может быть, из Тарлана мог бы получиться хороший шахматист, а, может быть, эта связь была иной, например, он чем-то был похож на шахматного короля или вообще на короля, не знаю… Но связь эта была явственной. И теперь, по возвращении к реальности, я буду учитывать её при встречах с Тарланом. И ещё я думал, как меняется рельеф реальности во сне, она совершенно меняла свою топологию. Ведь что было близко в реальности: Тарлан и крепкие напитки, праздные разговоры и компании, правда, всё это при наличии работы, но и не пахло ничуть шахматами; а что стало близко во сне: Тарлан и шахматы, причём настолько, что шахматная доска приросла к профилю его лица, не желая отрываться от него. И здесь он был более серьёзен, всё остальное же ушло на 2-й план, а шутки и веселье на 3-й, так как он был в 1-ю очередь весомый шахматист…

Нет, профиль Тарлана и был в моём сне раскрытой шахматной доской без фигур или с намёком на окончание партии, которое можно было разглядеть на ней. Но вместо головы у него была шахматная доска, развёрнутая, а его профиль, то есть борода, усы и щёки, – окончанием шахматной партии! Его лицо, верней, его профиль был эндшпилем или чем-то напоминавшим эндшпиль, если перенести его на шахматную доску, которая заменяла верхнюю часть его туловища, выше плеч. То есть, если бы эта доска была полупрозрачной, сквозь которую виднелся бы профиль его лица, то мы увидели бы и окончание шахматной партии на ней!

Мастерская художника

Мурад приходил и рассказывал о молодом поколении художников и об ученице, Софи. Сегодня мы с Томой и Фирузом пошли в его мастерскую. Он познакомил нас с Софи. Она была у него вместе с его другом Эйлазом, который был мне неприятен. Я хотел видеть изменения в работах Мурада, но нашёл продолжение того, что и видел с некоторыми вариациями. Почти то же, что я видел, абшеронский пейзаж на его мольберте, но гораздо сочней, ярче, свободней… Однако не было ничего нового… Потом Софи отвела нас к себе в мастерскую; охотно, как только сказал об этом Мурад. И там мы не переминались с ноги на ногу в ожидании, что же она нам покажет, потому что она показывала всё, что у неё было, начиная с ранних работ и кончая незавершённой, относительно которой спросила, понравилась ли, поразив меня. Ведь я думал, что завершение работы было в художнице, а она рассчитывала на нас, может быть, мы угадаем… Она показала фотографию выбранной для академии ра-

боты, смелой – вид сверху на стол, за которым сидели трое… В общем её работы были чем-то похожи на неё… То есть ей удалось найти, как выразить, что внутри неё, на полотне при помощи красок. Да, красками она владела, в них выражалось её настроение…

* * *

Была лекция о «Преступлении и наказании», в которой разбирались встречи Порфирия с Раскольниковым. И было замечено, что в последней встрече Порфирий пришёл не как следователь к Раскольникову, а как человек к человеку. Что Порфирий изменился после того, что произошло ранее у него в кабинете, когда невинный человек, маляр, принял на себя вину за совершённое преступление, потому что хотел пострадать. И это раскрывало Порфирию преступление Раскольникова, приведшее к его теории разделения, и одновременно заблуждение Порфирия, поскольку эта теория была знакома и ему! И он пришёл к Раскольникову, чтобы помочь ему избавиться от заблуждения и взять вину на себя, чтобы спастись… И Мурад пришёл по примеру Порфирия, чтобы дать нам воздуху… И я увидел на его полотнах солнце. Солнечный луч забрезжил на одном из его полотен, где были пляж и гамак на свежем воздухе, а под ним изгибалось причудливое дерево… И в глазах Мурада, когда он ещё сидел у нас, играл свет… И я думал, откуда он, этот свет, в его глазах и полотнах… Почему у меня нет этого света?... Он пришёл, чтобы поделиться с нами радостью творчества и что есть идеи, которые выше разногласий. Да, эти идеи были, и они были нам знакомы. Но мы не знали, что он владел ими столь свободно, что удержал луч света на полотне. И что у него была ученица Софи, которая понимала цвета и рассыпала на полотне цветы. И лепетала со звуком «ш» в речи. Мурад открыл перед нами мастерскую, будто распахнул себя… Но там был и Эйлаз, кроме Софи, который мне не нравился. Он показывал своё большое лицо, но не себя. А вчера, в клинике, я видел врача, лицо которого ясно выражало его. Он был толст и малоподвижен телом, но зато какая подвижность была в его лице! Оно выражало всё, что происходило в нём; все малые изменения настроения находили в нём своё выражение, и хотелось черпать взглядом эту жизнь и доброту. Поэтому, верно, главный врач и поцеловался с ним при встрече, ведь у него было человеческое лицо! У Эйлаза было с правильными чертами лицо, которое ничего не говорило о том, что в нём было. Софи говорила обо всём, опережая своё лицо, выразительные его возможности и своих собеседников… Но у Мурада на полотне был солнечный луч, и этого было достаточно, чтобы почувствовать тепло в его мастерской…

* * *

В работах Мурада видна была его приверженность настроению. Но в то же время поиск объекта, который соответствовал бы этому настроению. И художник определялся, как результат борьбы его настроения с внешним миром – кто кого? И в конечном счёте, конечно, художник будет побеждён, и мы увидим его поражение. Но какова будет картина этого поражения? Чем она протяжённей, шире и величественней, тем непобедимей был художник, и мы восторгаемся его картиной… Но на полотнах Мурада косо скользили лучи солнца, и он не собирался сдаваться… Была ещё картина, которая мне больше всего нравилась, это пляж в голубых тонах в знойный день с множеством лежащих на песке тел…

* * *

Вчера, рассматривая в галерее выставленные работы художников и особенно днём раньше, когда я вошёл в мастерскую Мурада, а после и к Софи, я чувствовал прилив настроения от почти бессознательной мысли, что их хорошие работы были завершающим звеном в череде плохих. И любой успех, стало быть, являлся как бы венцом ряда безуспешных попыток! Что большой художник не тот, у которого нет недостатков, а который прячет недостатки так, что зрители видят одни достоинства! Меня удручали собственные недостатки, и я считал, думая, как можно с этим несовершенством прийти к успеху. Но теперь меня осенило, что успех и слагался из множества несовершенств, пригнанных друг к другу так, что всё воспринималось как одно совершенство! Раньше, читая Толстого или видя шедевры живописи, я удивлялся, откуда берётся это впечатление восторга, когда в отдельности в этих произведениях то же, что и в тех, что вызывали скуку. И теперь я понял, в этом и искусство; в том, чтобы скрыть недостатки во взаимном расположении частей произведения. Такова и Джоконда: тени под глазами были у всех, но надо было нанести их чуть выше, сомкнуть слегка губы и приподнять их у краёв вверх и т.д. И Мурад многое скрывал в своих работах… И луч света, появлявшийся в них, получался от скрадывания тёмных сторон; не как в физике, где свет получается от сложения пучностей, но как в живописи, когда впадины оставались на оборотной стороне произведения, а на полотне возникал свет…

* * *

Творчество художника – диалог с внешним миром, сможет ли он понять его, то есть почувствовать. А для этого нужно, чтобы мир соответствовал хотя бы в один из моментов – момент вдохновения! – внутреннему состоянию художника. Но художник чувствует, это, скорей, удача, чем природная связь мира и его внутреннего состояния. То есть обычно имеет место несоответствие между художником и миром. И тогда начинается схватка. И творчество есть схватка художника с окружающим миром. Он хочет подчинить себе все части мира, чтобы его понять. И, конечно, проигрывает. Но кто-то проигрывает вначале, а кто-то в середине. Большой же художник проигрывает в самом конце, когда уже кажется, что он победил и всё объяснил, и всё познал, лишь остаются какие-то горстки… Но по невероятному стечению обстоятельств эти горстки перевешивают всё сделанное художником, и чаша весов отклоняется от него…

* * *

А Мурад привёл в мастерскую и посадил на холст луч солнца, потом морские суда и кусок побережья с греющимися на нём женскими телами. У него ещё были облака и труженик с вязанкой дров на хребте горы, спускающийся среди облаков. Он захватил с собой немалый участок прилегающего к нему мира и шёл ощупью вперёд. Здесь главное не споткнуться, не свалиться в пропасть и не сбиться с пути. Надо всё время идти вперёд, за 2-м, 3-им и т.д. лучами солнца…

У Мурада на холсте была радость жизни от тепла на побережье, происходящая от чувства устойчивости и неизменности этой радости, которой, увы, не было в жизни, – она была неустойчивой, случайной и преходящей. Не было в ней – жизни – ничего вечного. Но Мурад спорил с изменчивостью жизни, противопоставив ей незыблемую и полноценную радость мира. Но этот мир и был случаен и неустойчив, как

об этом свидетельствовали наука и опыт всей человеческой жизни. И только в какое-то мгновение он – внешний мир – мог внушить иллюзию вечной радости. А Мурад, остановив её кистью на полотне, продлил ей жизнь, спрятав её концы за рамками холста. И поэтому у зрителя возникало впечатление полноценной и незыблемой радости жизни… Но чьей? Ведь жизнь его не была такой же незыблемой. И тогда он собирал лучшие мгновения своей жизни и получал ощутимый отрезок радости, который, по примеру художника, помещал в рамку, скрывая её концы. И был счастлив в это мгновение и ещё несколько дней после, пока не сталкивался с хмурой действительностью… Но теперь он вызывал в памяти солнечный луч, виденный на полотне, и это помогало выстоять… Мурад метался по мастерской и тоже, конечно, терял в жизни больше, чем обретал; волосы у него седели, и он полнел, живот колебался под одеждой, и затылок редел, но не только это… Были и другие потери, щека его распухла, где был порез… Но и другие, за пределами его тела, в области духа или чувств… И против этого, всех бесчинств, что творились с ним, он клал своё полотно, на котором были море и берег, и солнечный луч, где он был силен и молод, и у него буйно росла шевелюра, и зубы были, как у жеребца, и живот не выпячивал, и так было всегда… И из того мира, который был на его полотне, этот мир выглядел беспокойным и блёклым, в котором люди суетились неизвестно зачем, а потом умирали, страдали, болели… Но именно в этом мире и создавались полотна, в которых другой мир был ярче и спокойней, и устойчивей, но не в мире за полотном, где незачем было создавать лучший мир, так как это и был мир, о котором мечтал художник…

О Моцарте?..

Слушал «Волшебную флейту» Моцарта и думаю о Моцарте. Что это, его музыка? Другой мир – мир его музыки… И он жил в этой музыке. Как он жил? Музыка говорит, что он весь состоял из музыки, он был в музыке, а Вагнер над музыкой, на пути к мысли… Шекспир был в поэзии… А остальные люди терзаются между этими пределами, поэзией, мыслью и музыкой и, не успев ни в чём воплотиться, рассекаются между этими занятиями. Те, кто что-то успел, состоят из доменов, в каждом из которых есть уцелевшие части музыки, мысли или поэзии, но нет единства между этими частями. Однако это ещё лучшие образцы представителей человечества. Потому что после них идут уже те, в ком не домены, а разбитые осколки разных видов деятельности, которые никак нельзя собрать вместе, чтобы получить более или менее содержательную картину… Но Моцарт был в музыке, дитя музыки, который был полон звуков, соединяющихся в гармонию. И эта музыкальная гармония отстояла от его физической слаженности; скорей, эта последняя не поспевала за первой. По сути его физический недуг был не так силён, но музыкальный союз в нём был столь совершенным, что отбросил от себя несовершенное физическое естество, запамятовав, что лишается этим развития. Но зачем же совершенству развитие? Оно не нуждалось в нём и оставило то, в чём рождалось. Теперь его музыка живей, чем те, кто её слушает. Они оживают, слушая. А она живёт, неся в себе её создателя. И неразрешимый вопрос, живёт ли он в ней так же, как и она в нём жила? Кого мы слушаем, Моцарта или музыку, придуманную Моцартом? Тут, пожалуй, проблема, аналогичная куриному яйцу, и что было первоначально – яйцо или курица… Разве мог бы Шекспир создать поэзию, если бы не был её творением? Или Ньютон закон всемирного тяготения? Ведь яблоко тут ни при чём…

На прогулке

1

Когда я гуляю по вечернему бульвару, я встречаю и старых, и немощных, и увечных людей, которые, как и я, надеются продлить свою жизнь прогулкой. Мы все знаем, что жизнь временна, но, тем не менее, хотим развернуть границы этого отрезка жизни. Мы не думаем, что за этим интервалом невообразимая бесконечность, и не только расширение его, но и этот интервал ничтожно мал с той космической точки зрения. И поэтому жизнь имеет смысл только для нас в той мизерной протяжённости, где живут почти не видимые в масштабах вселенной существа, сливающиеся между собой в едва заметное мутное пятно...

2

Те люди случайные, которых я встречаю по вечерам на прогулке по набережной бульвара, заняты одним физическим состоянием своего здоровья. Им кажется, что если продлится и дальше, насколько возможно, удовлетворительное физическое состояние здоровья, то остальное к нему приложится, то есть все остальные компоненты полноценной человеческой жизни. Но это – одна из иллюзий, которые сопровождают нас в жизни. То есть, конечно, не может быть полноценной жизни без здоровья, с этим не спорят. Но в то же время одно укрепление здоровья тоже не может гарантировать всей полноты человеческой жизни. Ведь, если человек нечестен, корыстен и угодлив, то исправление здоровья не исправит эти недуги...

Я видел вчера на набережной бульвара знакомого из прошлого, в котором не хотелось бы замечать следов былого знакомства, так как во внешности его обозначилось всё то уродливое, на что только намекала его внешность в прошлом. Нет, теперь он уже утвердился во всём, что тогда лишь слегка портило его внешность; и была ещё некоторая надежда, что он свернёт с этого, как бы случайно намечавшегося пути. Но теперь он стоял на нём твёрдо и был уверен, что избранный путь был правилен и оставалось только укрепить своё здоровье. Но я-то знал, что укрепление здоровья означало расширение той области, которая состояла из таких неправедных путей. И поэтому я желал его смерти. А он, скорей всего, заметив меня и узнав во мне бывшего знакомого, вероятно, думал, что я желал ему блага. И, скорей всего, тоже в душе, по крайней мере, не казнил меня. Так кто же из нас был более милосерден? Я ли, думающий лишь о благих целях и желавший ему скорой гибели, или он, вставший на путь алчбы материальных благ и желавший мне мира? И это только один взгляд, при котором раздваиваемся мы. Но таких взглядов имеется ещё, и из скольких же частей, противоречащих друг другу, мы состоим?

3

В молодости мы были на распутье, как распределить время и энергию между желанием познавать и влечением к противоположному полу. И эту тему следует развернуть, чтобы понять поведение представителей нынешнего поколения. Итак, молодые колеблются между желанием знать и влечением... А мы, их наставники, колеблемся между желанием жить и приготовлением к смерти. Но главным в нас является колебание между истиной и ложью, и неизменно мучает один и тот же во-

прос: жизнь происходит в реальности или это только пока игра? И чем дольше – я имею в виду общий поток времени, – жизнь всё больше походит на игру. Мелькают политики, учёные мужи и плоды их трудов; не столь ослепительны даже кинозвёзды и уже не верят так искренне в свою игру... Что же является в нынешнем мире реальностью, за чем можно было бы пойти? Вот этот вопрос, пожалуй, является главным из всех... И всё это мелькание жизни происходит, как кажется, из-за развития науки, которая показывает, из чего мы составлены – из мельчайших частиц, понять поведение которых мы бессильны. И поэтому теряют силу и слова – они тоже составные элементы фраз, и их тоже понять до конца мы не можем. И большинство людей занимаются только тем, в чём способны разобраться: спорте, шоу и т.д. Вчера я видел 2-х прогуливающихся на бульваре женщин, которые говорили о еде, кто сколько ест из их знакомых и сколько едят они, каждая из них и именно, что – что вызывает жжение в организме и как его избежать и т.д. И я подумал, что в их разговоре этом, вечернем, на свежем воздухе, пропадает важная тема для рассказа, ведь они говорят о существе, что их волнует; наконец, о жизни и смерти... Ведь, не найди они правильный путь выхода из создавшегося положения, когда одну из них мучит жжение и вес, а другую увядание и расставание с тем возрастом, когда ещё возможна была любовь, хоть какая, хоть мимолётная, и их время в этой жизни распишется по дням... Оно уже расписано, но, может быть, ещё не по дням. Ах, только бы не ошиблись, я думал, потому что уж очень трогала меня, не красящая её полнота одной из них – я даже хотел было уже подойти, чтобы дать ей совет избавления от жжения, но осёкся, ведь я их не знал, да и не совсем был уверен в правильности этого совета – и, не менее, а даже более, печаль другой; печаль, исходящая от того, что никто уже не видел в ней женщину, хотя она ею ещё была, да, никому это уже, пожалуй, не нужно. Да что поделаешь, будем жить так, только чтобы избавиться от неприятных уклонов здоровья от ранее намеченной естественной траектории... И этот вечерний воздух тоже хорош и не менее ласков, чем некоторый мужчина. И тот месяц не менее его ревнив, вон он как следит за каждым её шагом. И эта подружка её со своими проблемами о здоровье и лишней массой, которая прилипла к ней, как разбухшее тесто... Да, есть чему порадоваться, что она не так толста, хотя тоже увядает, но, может быть, более живописно или не так откровенно, а более загадочно? Может быть, может быть... Поживём, посмотрим, что нам преподнесёт жизнь, ведь она таит в себе всегда несравненно больше, чем мы можем угадать...

4

В вечерних прогулках я часто встречаю старшего брата бывшего одноклассника. Об этом однокласснике я слышал, что его уже нет в живых; то ли случайность, то ли болезнь, не помню... А брат его, который старше, всё ещё ходит по бульвару. Но в последние 2 дня я видел его сидящим на скамейке в саду и погружённым в естественную задумчивость, что неизбежно приходит с возрастом. Правда, не ко всем. Но к нему пришла. И пристала к лицу, которое он склонил, упершись руками о колени. Да, он был задумчив, как никогда раньше. О чём же он думал? Конечно, наверное, о быстротечности жизни и что она у него забрала безвомездно. И что она оставила... Его истрёпанное тело и лицо и выражение на лице со следами утрат и всеми сопровождавшими его признаками преклонного возраста. Но разве можно избежать возраста и всего, что следует за ним? Он сидел на скамейке, скрестив ноги под собой, как две шпаги или, вернее, шпагу и футляр, куда он её аккуратно вкладывал после

каждого сражения. А теперь уже всё, со сражениями кончено. И он вытащил её из ножён и положил около себя, скрестив вместе с ножнами. Довольно, пришла пора отдохнуть. Не рано ли? Может быть... Может быть, он ушёл с поля боя раньше времени. И что теперь прикажете делать?... Куда идти? За что взяться? Нужен ли он кому-нибудь теперь, когда голова его седа, тело устало, но взгляд ещё жив... Он знает теперь куда больше, чем раньше, когда был внешне красив и телом силён. Но кому это теперь нужно? Что делать? Как быть? Вот об этом он думал вечерами, сидя на скамейке – одной и той же – в саду. А я проходил быстрым шагом мимо него, думая, узнал ли он меня? И, если узнал, что подумал? Что я лучше и здоровее его, раз хожу, а он сидит. Конечно, он не знал, что было в глубине меня. Что там, на самой глубине, я был не менее задумчив, чем он. И, не менее, чем он, я думал, куда ведёт путь, открывавшийся в будущем. Но я думал об этом на ногах, отмеривая шаги по заведённому маршруту. А он, разуверившись и в этих маршрутах, сидел на скамейке со склонённой головой и скрещёнными под ним ногами...

5

Был там ещё один на бульваре, но заметно старше, чем мы, ходок, который совсем уже потерял веру в общение и говорил сам с собой. Ходил не медленно, но прихрамывая слегка, и говорил что-то себе. Мол, теперь для него хоть и новая и, прямо скажем, не лучшая пора жизни, но надо всё же продолжать ходьбу. Нельзя останавливаться, иначе сгинешь! Стоит остановиться – и ты корм для червей. Нет, лучше ходить. Через силу, через лень... И говорить, говорить... Всё время говорить, пусть и с самим собой. Что поделать, если собеседники разбрелись, кто куда. Но остался один, он, с кем можно ещё поговорить. Ну, так и на том спасибо. Как поживаешь, старина? Ну, и я ничего, в общем, терпимо. А что делать... О лучшем и мечтать не приходится. Так что не отставай. Иди рядом и слушай. Или говори, а слушать буду я. В общем, не вешай носа. Будем держаться вместе, что бы ни случилось... А случиться может всякое. Так что крепись и не исчезай...

Время

Мы всё-таки не знаем, что такое время. Но оно проносится сквозь нас, оставляя лишь неприглядную оболочку. Сегодня оболочка Сабира спрашивала, куда уносится время и почему такими стремительными потоками. Мы наблюдаем только, как исчезают месяцы, годы. И качаем головой или она качается уже сама по себе... Но всё равно мы беспомощны перед потоками времени. Только гении противостояли ему. Но и их смело могучей волной. А нам нужно только дуновение, ведь мы даже не сопротивляемся и не знаем, как...

Разве нельзя остановить время, чтобы оно не сдирало с нас лучшие маски, оставляя всё более худшие, с одной из которых мы должны будем покинуть близких, не имея даже права на достойное прощание? Нет, мы должны будем прощаться с натянутой на нас уродливой маской, не имея сил сказать последние слова. И что мы оставим в них, тех, кто знает нас? В лучшем случае лишь воспоминание о клоунаде последних лет жизни...

МАРАТ ШАФИЕВ

Три стихотворения, посвященные Мансуру Векилову

Мансуровский переулок

Криком исходит табличка:
«Мансуровский переулок».
Чиркнув, ломаются спички,
пальцы не жжет окурок.

В городе нашем расставшись,
встретились в дальнем краю –
только намного я старше,
ты же моложе в раю.

Славно сыграли мы в прятки.
Любящий песенки бог
тебя ухватил за пятки –
а кто увернуться смог?..

Мною придумана встреча
в тайном проулке Москвы...
А помнишь в Бильгях тот вечер,
где я все еще на «вы»?..

****

Перо, кайло, лопата –
у мастера в руках
всё спорится, как надо,
спрягается в веках.

Талантом опаленный
и пить – большой мастак.
– Я разве пью?.. Палёным
балу́юсь просто так...

Но если до упора,
не разбавляя спирт...
Нет, здесь уже бесспорно
иной сюжет сквозит.

До чёртиков упиться,
так вывернуть себя,
из ада возвратиться –
нет, здесь сама судьба.

Маститым я не стану.
Но жизнь мне тем светла –
сидел я с мастерами
у краешка стола.

Новоявленным

Нету прежних классиков,
проницавших сути,
и играют в гении
новые герои.

Говорят: мы лучшие,
истин квинтэссенция,
этот мир абсурден,
этот мир не вечен.

С мастерами рядом
я стоял у столика:
подавал инстру́мент,
выметал осколки.

Я же знаю точно –
эта пена схлынет.
Где ее начало,
в чем ее причина?

Я-то различаю,
Я-то понимаю...
А толпа им верит,
хлопает ушами.

ЛЕЙЛА МИРЗОЕВА

Эффект декомпрессии

Повесть

Челюсти океана

Неспокойный, непредсказуемый океан снова в его власти… Или это иллюзия… Он катит в кольце гигантской волны, сливается с синевой ее нутра, он не знает, что сейчас таят глубины бездны… Над ним нависает гигантское чудовище, дух перехватывает, когда он, словно дымкой, окутанный пеной взмывает и опускается, ощущая ногами лишь шаткую твердь серфа.

Серфинг всегда был его мечтой, и он уже несколько лет был прекрасным райдером- экстремалом. Тау-серфинг – покорение гигантских монстров Джоуз в команде, когда опытные гидроциклисты просчитывали каждую волну в сете и забрасывали серфера в нужную точку. В этой части океана, у берегов острова Мауи, когда речь шла о двадцати-тридцатиметровых волнах, так и приходилось работать. И нарушалось тогда его, такое любимое им тет-а-тет с океаном, когда не было никого между ними – лишь он и эта могучая, скрывающая в своих глубинах бога Посейдона и еще много чего неведомого могучая бездна. Он не представлял жизни без этой капризной водной глади, он чувствовал некую свою неразделимость с ней. Он не просто любил океан, а любил его безмерно. Дайвинг был для него больше, чем хобби, он погружался в черные воды как можно глубже, и однажды даже с ним чуть не случилась декомпрессионная болезнь. Он не учел, что океан, как и сама жизнь, никогда быстро не отпустит, невозможно, будучи на глубине, всплыть быстро и зажить счастливо, как ни в чем не бывало. Тогда он понял, что за все надо платить. Понял, но как-то, вероятно, по-молодости, быстро забыл.

Управляя серфом и, как ему казалось, волной, он испытывал невероятное счастье. Возможно, только такие минуты и вдохновляли его на жизнь, он чувствовал, что не так уж одинок в компании с таким же одиноким, молчаливым, саркастичным в своей непредсказуемости океаном. Он и океан почти друзья… Или это иллюзия… Океан ему дарил такие спокойствие и радость, каких он уже давно не испытывал на этой серой, пропитанной слезами разочарования и горя суше, и он бы хотел, чтобы несущая его волна не сокращала расстояние между ним и этой засасывающей серостью, а наоборот, отдаляла от нее, порой хотел бы так и остаться в океане навсегда, чтоб на земле и могилы его не было, чтоб след его простыл… Он знал, что однажды океан его не вернет, заберет, как щепку, он так и исчезнет, канет в бездну, и на суше мало кто станет сожалеть о нем, тем паче и сожалеть о нем мало кому было… Но пока он катит в горизонтальной воронке гигантского монстра Джоуз, ему хорошо, он наедине с другом своим, океаном, чувствует его дыхание, а на земле есть еще дела. Хочет он того или нет.

Приближающийся берег к его услугам. А с ним – все то, что пробуждает безудержный поток желаний на этой предсказуемой земле непобедимых соблазнов, что ведут к порокам и смертным грехам.

Марианская впадина. Смертный грех

Микаэлю уже двадцать восемь. Когда он смотрит на себя в зеркало, то испытывает удовольствие. Природа воистину не обделила его притягательной внешностью и обаянием, и Мика, как его звали многочисленные поклонницы, привык этим пользоваться.

У него было все – работа, деньги, женщины. О женитьбе и думать не хотел: когда жизнь – словно леденец с солнышком внутри, жена и дети представляются обузой. Микаэль шел по жизни, вернее сказать, скользил по ней или, что еще вернее, несся на гигантской волне, словно серфер в океане.

Хотя… так было далеко не всегда…

Будучи опытным райдером, Микаэль понимал, что серфинг – опасное развлечение, что доски иногда перестают быть опорой, а стихия вдруг вырывается из-под воображаемого контроля над ней, или, еще того хуже, бдительная акула появляется на твоем пути, и это в большинстве случаев последнее, что успеваешь уразуметь.

Микаэль уже три года являлся заместителем директора коллегиального органа управления благотворительного фонда «…». Основателем фонда был близкий когда-то друг его ныне покойного отца Альберт Домбровский. Микаэль, что называется, вырос у него на руках и не удивился, когда тот, основав крупную организацию, в качестве доверенного лица выбрал именно его.

Микаэль быстро освоил свою работу – контролировал вливания в организацию пожертвований от физических лиц, получение субсидий и дотаций из местного и государственного бюджетов, вкладывание в ценные бумаги полученных средств или превращение их в банковские депозиты. В его обязанности также входило получение целевого финансирования или грантов от других благотворительных фондов, осуществление контроля над ведением не запрещенной представителям фонда коммерческой деятельности. Альберт предоставил Микаэлю право подписи договорных документов, а вместе с этим правом взвалил на него и всю ответственность. Самого же Альберта часто не было в городе, таким образом руководителем крупной организации де-факто являлся Микаэль.

Мать Микаэля умерла, когда ему было двенадцать лет. Дальше жили вдвоем с отцом. Когда Микаэлю исполнилось шестнадцать, этот харизматичный человек, глава прибыльной компании, наконец, решился жениться на женщине с сыном, почти ровесником Микаэля. Само собой, она души не чаяла в своем Эдуарде, а нетребовательный, незлой, во многом покладистый Микаэль ее только раздражал. Микаэль стал мало бывать дома, пока не уехал. Через некоторое время получил известие о смерти отца – разбился в аварии. Вскоре Альберт Домбровский, второе лицо в компании, объявил о ее банкротстве.

Так Микаэль остался один и ни с чем, едва удержался «на плаву», чтобы не скатиться в пропасть юношеских пороков, и непрестанно был обуреваем подозрениями о причинах нелепой смерти отца.

Сейчас же Микаэль был известен, богат и важен, он руководил уважаемой организацией, к нему обращались представители видных фирм. Через его руки проходили денежные пожертвования людей абсолютно разных категорий, не исключая богатеев сомнительной репутации, желающих успокоить свою очень даже неспокойную совесть.

А теперь о сути. Микаэль прекрасно понимал, почему денежными активами распоряжается Домбровский, а документальная ответственность лежит именно на нем. Он пошел на этот риск, на эту реальную собственную подставу потому, что это было условием его работы в фонде. Других условий не было, как и не было других перспектив. Так он и поддался соблазну Лукавого, медленно, но верно «опускаясь» на самое дно Марианской впадины – глубочайшей точки Мирового океана. Это был его осознанный выбор.

* * *

О Домбровском у него сохранились радужные воспоминания, тот был вхож к ним в дом и часто играл с маленьким Микой. Сейчас Микаэль был очень благодарен ему за то, что тот помог ему выбраться из череды неудач, когда, куда не тыкайся в этом мире, пусть даже с потенциалом, нет ни ходу, ни места, а везде требуется протекция… И так было всегда, он читал, что еще в Древнем Риме был такой же насквозь прогнивший социально-иерархический уклад. А может, с тех пор, как мир стоял. И кто это сказал, что талантам проще пробиться… Скорее, наоборот… Кому нужен опасный конкурент? Его когда-то достаточно влиятельный отец здорово бы ему помог…

Остап Бендер отдыхает…

После проведения по инкассации денежных средств сумма финансов в боксах определялась, как и полагается, в присутствии комиссии. Микаэль знал, что состав этой комиссии утверждался основателем фонда, то есть самим Домбровским. На интернет-портале фонда, в графе «Отчетность», указывались собранные суммы, некоторые другие подробности, однако более полная информация давалась не всегда – часто упускались такие важные детали, как сведения о пожертвовавших на лечение детей лицах, данные этих детей, цель пожертвований, наименования принявших денежные средства медицинских учреждений и т. д. То есть у читателя срабатывал так называемый «эффект скотомы», упускалась из виду специально скрытая информация о некоторых благотворителях и больных детях, на которых и формировался «левый» капитал фонда.

Упрощенно говоря, фонд работал по формуле: два доллара – на лечение больных детей, один – себе в карман. Частенько бывало и наоборот.

Был еще один весьма прибыльный маневр. После размещения роликов на телевидении и интернет-сайтах о помощи больным детям сбор денег продолжался и после оказания финансовой поддержки семье. А то и после смерти ребенка…

Или: с миру по нитке родители собирают деньги на дорогостоящее лечение своего ребенка. В графе «Отчетность» публикуется выданная фондом на лечение больного малыша сумма. Но документ этот в действительности липовый, на самом деле это чек, полученный родителями ребенка за оплату очередного этапа лечения, средства на который были собраны добрыми людьми, не имеющими к фонду никакого отношения.

Безусловно, что многим детям помощь фонд оказывал – это было и необходимым условием его существования, и прикрытием. Но еще больше малышей оказывались за бортом доброй воли благотворителей, и они до поры до времени, пока хватало сил, должны были дожидаться своей очереди на дорогостоящее лечение в серых, мрачных клиниках.

Реклама фонда размещалась на коммерческой основе. Люди, сердобольно жертвовавшие деньги на богоугодное дело, и не подозревали, что половиной своих средств оплачивают не нужды больных детей, а рекламу на необходимость их лечения.

По закону налоги с фонда и зарплата его сотрудников в целом должны были составлять не более 20% от прибыли. В документах фонда значилась соответствующая цифра. Но сколько оседало в карманах управителей фонда, оставалось известным только им.

Домбровский, прикрываясь благотворительностью, к тому же занимался запрещенной представителям данных организаций коммерческой деятельностью, вложенные благотворителями денежные активы уплывали бог весть куда…Члены наблюдательного совета, состав которого по нелепому закону определял основатель фонда (значит, Домбровский), закрывали на все глаза, члены исполнительного органа поступали точно так же, зато подписи на документах красовались его, Микаэля, как официального заместителя главы организации…Микаэль понимал, что совершает, наверное, самую большую ошибку в своей жизни. Он часто вспоминал особенно любимую им когда-то в детстве серию из «Тома и Джерри». Там в очередной раз «надутый» мышонком кот смотрит в зеркало, а в отражении видит осла… Осел ослом, но Микаэль считал себя к тому же еще и трусливым ослом. Он боялся повторения жизненных неудач, боялся бедности, что означало для него такое страшное одиночество… И решил когда-то однажды поутру, что нет ничего лучше в этом скользком мире, чем самому стать ловким аферистом. Лучше быть ловким Джерри, чем ослом Томом.

И возможно, когда-нибудь, когда однажды лишится он сна, потому что души загубленных детей станут ему уж больно докучать, он сам пожертвует средства в какой-нибудь, не такой как их, благотворительный фонд, чтобы быть уверенным, что деньги его дошли до адресата…

Уж он натерпелся от своего безрезультатного тыканья во все сферы возможного карьерного роста… от безвременного сиротства и уже сложившегося у него комплекса неудачника…

Он простил Альберта за то, что тот определил его прикрытием своих афер, но, конечно, уже не заблуждался относительно его добрых, бескорыстных намерений на свой счет. Микаэль усвоил в жизни очередной урок: не доверяй даже собственному отражению в зеркале… если не хочешь, чтобы в нем отражался осел.

* * *

«Деньги – не главное. Главное, чтобы они были». Такой девиз был у Микаэля. Он любил высмеивать прописные «духовные» ценности, цинично противопоставляя им прагматичные материальные схемы.

И только Элина ощущала здесь какую-то склизкую, тошнотворную фальшь… Но что скрывалось за этой фальшью, почему Микаэль хотел казаться таким?..

Микаэль не знал, как избавится от своей очередной подружки. Элина оказалась то ли на редкость глупа, то ли виртуозно хитра.

Девушка навязалась лететь с ним в Прагу. В этом завораживающем городе должен был состояться благотворительный вечер.

Микаэль уже перестал церемониться с Элиной, до того она ему осточертела до чертиков (любимый каламбурчик Микаэля), грубил ей напропалую, а она все не хотела понять очевидного.

– Мика, как ты думаешь, мне изменить цвет волос? Может, стать блондинкой?

– Нет, зачем усугублять-то?

Вот так и хамил ей, а между тем Элина была красивая девушка с тонкими чертами лица и большими красивыми глазами, и Микаэль не замечал, что в последнее время они часто бывали красными от слез.

Пытаясь защитить свою любовь, Элина не показывала своей обиды, и чем больше нарывалась на грубость, тем больше пыталась быть нежной.

Вечера стояли прекрасные, в Праге не может быть иначе, пестрый шумный город, где слились в экзотическом симбиозе готика и модерн, был полон отдыхающих, на площадях их развлекали артисты и фокусники.

Микаэль с Элиной в Праге уже несколько дней, а из отеля выходили только раз – посидели в ресторанчике напротив исторического дома Кеплера под методичные, имитирующие колорит средневекового города, звуки труб, прошлись до причудливого памятника Кафке, на который Мика, не обращая внимания на тщетно пытавшуюся его разговорить спутницу, глазел битый час. И все. В последующие, оставшиеся до благотворительного вечера дни Микаэль по большей части отсиживался, вернее, отлеживался в номере отеля – его давно уже не интересовали ни Прага, ни Элина. Обычно он отмахивался от назойливо-слащавой нежности девушки (а раньше так ему не казалось) какой-нибудь соответственно пошлой шуточкой.

– Мик, зайчик мой, просыпайся, дорогой… Выйдем, а… Микуль, уже вечер, проснись, котенок, солнышко мое… Выйдем на чуть-чуть…

И сонный в ответ голос «Микули»:

– Я сегодня рыбка, у меня нет ножек, так что я никуда не иду.

Накануне благотворительного вечера Элине все же удалось вытащить Микаэля в город. Прошлись по шумной, длинной Вацлавской площади, затем вышли на Староместскую площадь. Пересекли ее медленно, было много народу, затем, пройдя по старым улочкам, зашли в тихий, уютный ресторанчик. Микаэль перебрал с абсентом, а в такие моменты он бывал особенно чудны̀м. Какой-то заблудившийся турист, тоже подвыпивший, обратился к нему с вопросом:

– Друг, если я пойду в эту сторону, там будет отель City Inn?

– Друг, он там будет, даже если ты пойдешь в другую сторону!

Элина дернула Микаэля за рукав и, смущенно улыбаясь, уточнила:

– Да-да, именно так, идите в эту сторону, через Староместскую, затем Вацлавскую площади.

Пока она говорила это туристу, Микаэль уже умудрился близко познакомиться со столбом, настолько близко, что Элине пришлось затем прикладывать к его лбу холодную бутылку. Обоим было смешно. Пока Микаэль вдруг не осекся и снова, как всегда, не замкнулся глубоко в себе.

Элина безрезультатно пыталась понять, что так угнетает ее бойфренда.

* * *

– Просыпайся, сынок, пора в школу!

Вставать не хочется, учителей видеть не хочется, да и контрольную писать не хочется…

– Вставай, малыш, пора! – будила мама.

– Мам, еще чуть-чуть, ну пять минуточек… – щурясь от беспардонно ворвавшегося к нему в комнату солнца, просил мальчик. – И почему ты меня малышом все время называешь? Мне уже одиннадцать!

Мама присела на его постель.

– У тебя душа малыша… – улыбаясь, она потрепала его, словно иголочки ежика, волосы, – ты всегда будешь смотреть на мир добрыми, радужными глазами… даже когда станешь большим и очень респектабельным человеком.

– Я буду хорошим? – улыбнулся ей в ответ «малыш» своей резкой, образовывающей продолговатые ямочки на щечках, улыбкой, но какой-то особенной, той самой, которую он дарил только своей маме…

…– Что? – послышался какой-то чужой голос. Немного привыкнув к слепящему солнцу, он, наконец, смог разглядеть силуэт. Это была не мама.

– Проснулся? Как-то интересно ты сейчас улыбался… так сладко… необычно… Мик, если бы ты знал, как ты меня вчера напугал!

Некоторое время Микаэль смотрел на женщину, силясь отличить явь от грез, и когда это ему, наконец, удалось, впал в отчаяние… очередное отчаяние, потому что мама приходила к нему во сне не в первый раз. Горечь от осевших на самом дне души воспоминаний безоблачного детства и его трагического конца просто душила его, и никто не знал, что эта горечь не давала ему в полной мере разобраться в своем настоящем и попытаться запрограммировать то самое «хорошее» будущее, в которое так верила его мама.

Тупая боль в голове застилала разум, но женщина помогла ему:

– Мик, сейчас придет врач, он еще раз осмотрит тебя… Кто ж знал, что благотворительный вечер закончится именно так…

Микаэль вспомнил вчерашний день.

Рак – не приговор!

На официальном, организованном фондом благотворительном вечере, где присутствовали представители крупных компаний, звезды шоу-бизнеса, простые зажиточные граждане, гости и репортеры, один из членов коллегиального органа управления Тимур Риконович рассказывал об успехах фонда и о чудом спасенных больных онкологией детях. За последний год девять детей – шестеро с опухолью головного мозга и трое больных лейкемией были удачно прооперированы в израильских клиниках, все они в данный момент проходили реабилитацию. Свою речь Риконович сопровождал демонстрацией фотографий детей – до их лечения и после.

Неожиданно к Риконовичу в буквальном смысле «подлетела» журналистка и, выхватив у него микрофон, стала поливать фонд грязью. Она обвиняла Домбровского, который, как всегда, отсутствовал, Микаэля, а также других членов правления фондом в присвоении львиной доли пожертвованных средств, в фейке документов и прочих махинациях.

Девушка проявила необычайную осведомленность относительно истинной статистики финансовых вливаний в фонд и его действительных затратах за минувший год. Сомнений не оставалось – ею, а может быть, и ее сообщниками, было проведено журналистское расследование данного дела.

– Куда девается внушительная доля пожертвований добропорядочных граждан? Оседает в карманах учредителей этого фонда! – кричала в микрофон журналистка. – За весь 2016 год благотворительных пожертвований было собрано на 1 миллион 10 тысяч долларов. 600 тысяч были направлены на оказание помощи девятерым детям. Где же остальная часть пожертвований? Осела на «нуждах фонда»? Вы и не знаете, насколько документальные отчеты фонда не соответствуют истине! А ролики в интернете и на телевидении! Ведь сбор средств продолжается и после оказания помощи ребенку. И в случае смерти ребенка сбор средств все равно продолжается. А сколько детей ждут своего лечения в очередях! И часто не дожидаются! А деньги в фонде просто исчезают! В результате невылеченных детей гораздо больше, чем вылеченных, потому что деньги, повторяю, вот уж сколько времени благополучно оседают в карманах руководителей фонда – воров и убийц!

Что тут началось! Благотворители, гости, репортеры всколыхнулись, словно, как на миг показалось Микаэлю, океан во время бури, и он был один в эпицентре шторма, растерянный, уличенный в преступлении против человечества.

Перед глазами Микаэля все поплыло, он уже мало что соображал, когда перед ним появилась Элина.Она сжала его руку, а из ее глаз текли слезы.

– Скажи же что-нибудь! Не молчи! Защити себя!

А он все молчал.

– Ну же, Микаэль! Ты не один, я с тобой, слышишь! Говори!

Микаэль вышел из парализовавшего его ступора, выхватил у журналистки микрофон и, глядя на нее с ненавистью, сказал первое, что пришло ему в голову:

– Льву наплевать на то, что думает о нем овца! – затем стал обвинять ее в мошенничестве и подтасовке фактов, а также в желании таким образом себя пропиарить с целью продвижения по карьерной лестнице.

Выхватывая у журналистки микрофон, Микаэль нечаянно задел им ее лицо. Сквозь толпу уже пробирался «защитник» журналистки – ее напарник. Подскочив к Микаэлю, он сшиб его с ног со словами:

– Ты еще женщин бьешь!

И действительно, из носа журналистки уже текла кровь.

Микаэль ударился головой о ножку рояля и в первый раз в жизни понял, что выражение «искры из глаз посыпались» – не пустое выражение.

Тем временем журналистка, придерживая нос, завладела микрофоном и отпарировала Микаэлю:

– Дефицит львов – не повод ценить шакалов! Вы – шакалы. Вы гробите невинных детей!

Вскочив и не обращая внимания на направленные на него камеры и вспышки фотоаппаратов, Микаэль нокаутировал напавшего на него журналиста и, уже не владея собой, как кошку взял за шиворот ретивую журналистку и спустил ее со сцены. Тем временем от удара пришел в себя ее коллега и снова бросился на Микаэля. Последнее, что смог уразуметь Микаэль – это то, что других членов правления фондом в зале уже не было.

…Этот холод, каким каждый раз обдавала его мачеха, снова его пронизывал. Микаэль молчал, но во всем его существе ей чудился немой укор в смерти его отца. Мать и сын, Лора и Эдуард, на похоронах стояли рядом, в них Микаэль не чувствовал ни тени скорби по мужу и отчиму, они словно смотрели на это трагическое событие как на очередную, обыденную веху в их жизни. Так, по крайней мере, казалось

оставшемуся круглым сиротой Микаэлю, он ощущал себя чужим в родном доме, который теперь к тому же уже и не был его собственным. Шикарный двухэтажный особняк отходил вдове его отца, а судиться с ней за долю в нем Микаэль не собирался.

Наконец Лора попыталась прервать эту муторную борьбу взаимной неприязни. Чувствуя себе старшей и обязанной сказать в данной ситуации хоть что-то благородное пасынку, она к нему подошла.

– Микаэль, это также твой дом, ты можешь бывать здесь, жить здесь, когда и сколько захочешь…

– Спасибо, – в тоне Микаэля чувствовалась ирония.

– Микаэль, послушай… Мы не очень-то ладили…

– Лора, давай без этого. Я уезжаю. Надеюсь больше тебя не увидеть.

Вечером в отцовском доме его уже не было.

…Микаэль очнулся после этого очередного сна-воспоминания. Он уже два дня был в больнице, куда его, потерявшего после нападения журналистов сознание, привезла Элина. Головная боль не утихала, вероятно, еще и потому, что по телевизору постоянно крутили репортаж о произошедшем на благотворительном вечере скандале, журналисты упивались своей победой и смаковали подробности.

Фонд «…», как и следовало ожидать, оказался в центре внимания правоохранительных органов, а лично он сам, де-юре стоявший во главе фонда, без какой-либо презумпции невиновности оказался также и в немилости у общественности.

Микаэль привстал, пить страшно хотелось. Элина, постоянно сидевшая возле него, подала ему стакан воды. Голова разболелась еще больше, пережитый стресс давал о себе знать и в дрожании рук – нервная система была расшатана до предела.

– Ну как ты? – раздался над ухом хорошо знакомый голос.

– Нормально… А ты все здесь?

Элина как-то необычно смотрела на него. Микаэль понял, как. В ее взгляде не было привычной, так опостылевшей ему, нежности.

– Микаэль, ты можешь мне ответить на один вопрос?

Без этого вопроса вообще не могло бы быть какой-либо закономерности в жизни.

– Это правда, – не дожидаясь озвучки мучительного вопроса, не глядя Элине в глаза, сказал он.

Элина закрыла лицо руками.

– Как ты с этим жил?

Микаэль молчал. Ничего неожиданного в данной ситуации для него уже и быть не могло. Он видел, как сквозь пальцы Элины просачивались слезы.

Вдруг она резко встала и направилась к выходу. На пороге оглянулась и резко бросила:

– Как я могла так тебя придумать!

Микаэль закрыл глаза и услышал, как хлопнула дверь.

Сейчас Микаэль чувствовал себя как тогда, когда уехал из дома учиться – он совершенно один в чужой стране, никому не нужный. Затем – известие о смерти отца. Обидное осознание того, что если он сгинет без следа, то никто этого и не поймет, вновь овладело им. «Волк слабее льва и тигра, но в цирке он не выступает», – подбодрил сам себя Микаэль. Когда он бывал во власти очередной депрессивной «волны», эта поговорка немного помогала.

Сам виноват. Сознательно пошел на сделку с совестью, предпочел хорошую жизнь страху неудач – и вот она, расплата. Ведь он знал, что однажды так и будет. Он также знал, что и Домбровского в критический момент найти не сможет – он исчез, канул в небытие, засел где-то на островах, обналичивает кровавые денежки.

А теперь Элина, которая так давно претила ему своей навязчивой любовью и от которой он так мечтал отделаться, сама бросила его, презирала его и, может, даже ненавидела.

Сейчас фонд находился «под прожекторами», работа была приостановлена, документы подвергнуты сплошной ревизии. Микаэль бежать, как Домбровский, не собирался, он вернулся из Праги и ждал неопровержимых доказательств преступной деятельности фонда.

Само собой, благотворительные вклады были заморожены. Общественность была возмущена, благотворители требовали свои вклады обратно. Трясли абсолютно всех – от членов правления фондом до простых служащих. По телевидению, в интернете и в печати о фонде говорили в самом недоброжелательном и презрительном тоне, был организован ряд ток-шоу, куда были приглашены представители правления и рядовые служащие опозоренной организации. Как и следовало ожидать, работники фонда от участия в ток-шоу отказались, предоставив «поле боя» журналистам и активным представителям общественности.

Ничего предосудительного в процессе документальной ревизии обнаружено не было. Экономист с дипломом отличия, уже успевший стать профи своего дела, Микаэль был готов к любым форс-мажорным ситуациям. И, как далеко не глупый человек, был готов настолько, насколько не мог предположить и сам Домбровский.

Журналистка подала в суд на Микаэля за оскорбление ее личности в частности, и всей свободы печати в целом. Кроме достаточно внушительной денежной компенсации морального ущерба адвокат журналистки выдвигал и требование уголовной ответственности для «обидчика» за якобы нанесенные телесные повреждения.

Тогда настал черед Микаэля. Он выдвинул против журналистки ответное обвинение в оскорблении его лично и всего благотворительного фонда в целом, в попытке удовлетворения личных амбиций путем инсинуаций против порядочных людей и всей гуманитарной деятельности его организации. Весь вызванный журналистами ажиотажный процесс Микаэль называл «Нюрнбергским» и инспирированным конкурентными, действительно коррумпированными организациями. Какими именно, Микаэль в подробности не вдавался.

Микаэль пошел на это потому, что не видел другого выхода. Он вообще не любил связываться с женщинами, всегда соблюдал с ними психологическую дистанцию и был убежден и часто повторял, что на женщин не обижаются.

Но здесь была совершенно иная ситуация – не прими он вызов, в глазах придирчивой общественности это выглядело бы очередным доказательством коррумпированности фонда, тем более, что факт отсутствия его основателя, Альберта Домбровского, и так о многом говорил.

На Микаэле лежала тяжелейшая миссия – реабилитация репутации фонда, восстановление собственного авторитета, что возможно было только путем публичного реванша.

От Микаэля отвернулись друзья. Репутация фонда была подорвана, он потерял доверие благотворителей. Микаэль ощущал себя щепкой в океане, которая и потонуть-то не может из-за своей легковесности.

Вернувшийся, якобы, после продолжительной болезни Домбровский продолжал «болеть» на своей вилле. И ему было несладко – его трясли, проверяли источники доходов и происхождение недвижимого имущества. СМИ вовсю кричали о фейке документов руководителями фонда, о ловком заметании ими следов своей преступной деятельности. Адвокат советовал Микаэлю попытаться, насколько это было возможно, решить конфликт полюбовно. Микаэль сомневался в реальности такого плана, тем более, что было очевидно, что этот скандал способствовал немыслимому рейтингу популярности этой журналистки и всей ее команды, тогда как он с головокружительной скоростью приближался к сокрушительному фиаско.

Все же Микаэль решился выйти на личный с журналисткой контакт. С адвокатами и посредниками, где-нибудь в людном месте, если ей будет угодно.

Пробили номер ее мобильного через интернет. Микаэль сразу же позвонил ей.

Ответили только на четвертом гудке.

– Да.

В трубке слышалось щебетание детского голоска.

– Подожди, детка. Да, алло. Кто это?

– Это Микаэль. Ну, тот, кого вы в избиении и бог еще знает в чем обвиняете. Нам необходимо встретиться. Хотите, с адвокатами, или возьмите с собой кого хотите…или в кафе, где много народу...

– Не переоценивайте-ка себя! – был резкий ответ. – Я вас не боюсь. Нам просто с вами не о чем разговаривать. Встретимся в суде.

Отбой.

Через несколько секунд задрожал его, всегда стоящий на вибрации, телефон. Это была Лора.

– Как ты там? – она была явно смущена.

– Чем вдруг обязан? – не в шутку неприятно удивился Микаэль.

– Ничем… И не стану кривить душой, что звоню из-за твоих неприятностей…

Микаэль молчал.

– Послушай, Микаэль, единственно, о чем я сожалею, что сразу как-то отодвинула тебя, провела резкую грань между тобой и своим сыном… Я правда сожалею.

– И?..

– Просто пойми меня, ты уже был такой большой… В этом возрасте уже нет надежды, что пасынок примет мачеху или, еще того больше, назовет ее мамой… Я хотела давно тебе сказать… я не знаю, что ты думаешь… насчет папы…я правда не знаю, как это могло произойти… Это просто несчастный случай… неужели ты думаешь, что я могла… ты меня винишь? Или моего Эда?! Думаешь, мы бы могли… из-за этого дома или каких-то денег?!

– Лора, мне правда сейчас не до этого, – сделал попытку закончить разговор Микаэль. Он много думал о смерти отца. Да, когда-то Лора и ее сынок были у него в списке подозреваемых. У него и у полиции. Но недолго. И полиция от них отстала, и он перестал их подозревать.

– Подожди… Я понимаю, что ты не очень любишь меня… И виню в этом только себя, правда… Я не знаю, как сказать… Я в проблеме.

– Сколько? – избавил ее от мучений Микаэль.

Сумма оказалась внушительной. Ее Эд был пойман с поличным на одном мошенническом предприятии в кампании, в которой работал, и пока было не поздно, надо было его отмазывать.

Микаэлю не за что было любить ни Эдуарда, ни его мать. Всего раз она о нем позаботилась, когда у него случился перитонит, отца дома не было – скорая, операция, реанимация, она в коридоре патронировала врачей, никого в обиде не оставила. Можно сказать, в каком-то смысле жизнь спасла: перитонит – дело не шуточное.

Вообще-то и Микаэль никогда не был с ней особенно белым и пушистым – он не обижал ее, не грубил, не скандалил, но изводил ее еще более мерзким способом, которым владел в совершенстве – игнорировал ее и этого избалованного маменькиного сынка Эда, жил своей жизнью и, насколько было возможно, не нарушая личного пространства своих домочадцев, делал все по своему разумению. В такой ситуации Лоре надо было отдать должное – ей хватило мудрости не донимать пасынка. Не позволяла она этого делать и своему сыну. Так и жили, пока жили под одной крышей.

Микаэль сейчас сам находился в серьезной проблеме и поддержки ему ждать было неоткуда. Но он нашел способ помочь вдове своего отца – перевел на ее счет нужную сумму. Теперь они в расчете.

Недвижимое имущество Домбровского оказалось наследством. Денежные активы так же имели законное происхождение. О том же вовремя позаботился и Микаэль. Дело можно было бы считать закрытым, если бы не это вынужденное сутяжничество с журналисткой, которое не давало утихнуть разгоревшемуся вокруг благотворительного фонда скандалу.

Адвокат Микаэля настоятельно советовал ему быть «поближе к народу», общаться с ожидающими финансовую помощь больными, попытаться сменить недоверие публики на их поддержку. Микаэль нашел в себе мужество посетить несколько онкологических клиник, чего никогда раньше не делал.

В сопровождении пяти сотрудников фонда и представителей администрации клиники Микаэль шел по ее коридорам. Они заглядывали в палаты, пытались говорить с больными детьми. Кто-то кивал им в ответ на их заботливые вопросы, кто-то молчал.

На сердце у Микаэля становилось все тяжелее. Дело даже было не только в том, что эти дети были беспомощны – кому помогали сиделки, кто находился в инвалидных колясках, а кто и вовсе был прикован к кроватям и к трубкам искусственного дыхания. Дело было в их глазах… В них и в помине не было детского задора, легкости и непринужденности, а лишь какой-то безысходный, непобедимый мрак, бесконечная грусть и затаенная обида – на яркий, красочный мир, на солнце, что светило не для них, а для счастливых других, непринужденных и здоровых, веселых и сильных…Дети равнодушно смотрели на делегацию взрослых, смотрели те, кто мог еще это делать. Микаэль видел слезы некоторых из них – они страдали от боли, не понимая, почему этот общий для всех мир был все же не для них…

Несмотря на все усиливающуюся головную боль, Микаэль продолжал обход, говорил с родными детей – были часы приема, отвечал на их вопросы, в частности – когда же, наконец, наступит очередь финансовой поддержки их ребенку, что все уж продали, что делать дальше, не знают, ведь их малыш ждать уже не может, ведь сколько уж умерло, так и не дождавшись… В глазах этих отчаявшихся и таких беззащитных в своем несчастии людей Микаэль читал немой укор – подорванное доверие к фонду чувствовалось в их вынужденно сдерживаемых, но плохо скрываемых эмоциях.

Микаэль сказал, что ему надо в туалет. Зашел, закрыл за собой дверь. Пытался сконцентрироваться и взять себя в руки. Так и стоял, слегка покачиваясь из стороны в сторону.

Понимал ли он, что творил? Да, понимал. Но не видел их, умирающих детей. Легко творить, не видя, глубоко не думая и не представляя… Из транса его вывел стук в дверь. Узнал голос главврача клиники.

– С вами все в порядке?.. Вы живы там?!

Микаэль вышел и направился к лифту. Перед ним катили каталку. Под простыней ясно очерчивалось маленькое тельце, лицо было закрыто. Каталку остановили у лифта.

– Умер только что… – пояснил главврач. – Четвертая стадия. Обезболивающие уже не действовали. – Затем добавил с укором в голосе: – Так и не дождался помощи. А кто знает, может, вовремя отправили бы в Германию, и спасли бы… Теперь же прямая дорога в морг.

– Вы себя плохо чувствуете? – спросила одна из медсестер. – Может, перерыв сделаете, присядете, чайку попьете?

– Да, все, кто оттуда, – главврач жестом указал на дверь, – обласканные, так сказать, судьбой, теряют здесь равновесие, но это ненадолго. После выхода отсюда их здоровые тела, ласковый к ним мир берут свое, а мир в этих стенах начинает казаться страшным воспоминанием. Вы, молодой человек, слишком молоды, чтобы со всей полнотой осознать всю несправедливость жизни, вы придете в себя… И даже быстрее, чем вы думаете.

В этот момент дверь лифта наконец открылась и каталку вкатили в кабину. Простыня, которой был накрыт труп, застряв в проеме, съехала с лица. На Микаэля уставились два открытых глаза и, как показалось Микаэлю, в немом укоре все смотрели и смотрели на него, пока двери лифта не закрылись.

В кабинете у главврача говорили о делах. Микаэль испытывал чувство некоего штиля в душе, штиля перед штормом в океане, механически говорил, механически предлагал, механически отвечал на вопросы. И выдержать больше не мог – он поднялся первым, пожал врачам руки, за ним встали его коллеги. Микаэль спешил покинуть клинику, чтобы его здоровое тело и ласковый к нему мир «взяли свое», а маленькие больные пациенты остались в прошлом страшным воспоминанием.

По дороге к выходу он в который раз услышал детский плач, хотел пробежать мимо, но путь преградила каталка. Невольно повернул голову и увидел в открытую дверь палаты… нет, показалось… он пригляделся внимательнее… это была та самая журналистка. Она увещевательным тоном пыталась успокоить ребенка, а тот цеплялся костлявыми ручонками за ее длинные, вьющиеся в мелкую кудряшку волосы.

Микаэль обомлел. Встал сначала, как вкопанный, а потом и сам не понял, как вошел и оказался рядом с ними.

– Мама, не хочу больше, – всхлипывая, повторял ребенок, – больно, не хочу.

– Потерпи, моя девочка, – успокаивала мать, – еще чуть-чуть.

– Не хочу-у-у!

Другие больные в палате тоже захныкали – они не просто заразились примером, что часто свойственно детям. Плача за компанию, каждый плакал о своем.

Вдруг девочка, вероятно, среагировав на взгляд Микаэля, посмотрела на него и, увидев накинутый на него белый халат, сказала:

– Мама, у нас новый доктор. У него волосы, как у ёжика. – Девочка перестала всхлипывать и с детским любопытством принялась разглядывать «нового доктора».

Мама повернула голову, увидела Микаэля и, в отличие от него, отнюдь не обомлела.

– А-а, изволили пожаловать, господин главный распорядитель благотворительных средств!

Микаэль молчал.

Лишившись главного примера, дети притихли, и Микаэлю казалось, что их взгляды буравят его.

– Это… дочка? – наконец смог вымолвить он.

– Все ждем очереди! – и не было на свете более укоризненного тона.

– Почему вы… не обратились ко мне с самого начала? – вконец потерявшись и понимая всю абсурдность вопроса, все же спросил Микаэль.

– И вы бы помогли хотя бы рекламу пробить? Или даже получить лечение в срок? – вскричала женщина. – А им, – она указала на детей, – а тем, другим? Вы – преступник! И да гореть вам в аду! – и она, тщетно пытаясь сдержать слезы, бессильно уронила голову на руки.

– Мам… – потянула ее за руку девочка. Она снова всхлипывала.

– Все хорошо. – Видно было, какого неимоверного усилия стоило матери взять себя в руки. Она выпрямилась и дала дочке плюшевого зайчика в смешных шортах в цветочек. – Ну, кто тут у нас? Зайчонок. Он тебя спрашивал.

– А тебя он тоже любит?

– Конечно, золотце мое. И меня.

– Тогда ты не плачь. Он очень расстраивается.

– Да, милая. Больше не буду.

Мать и дочка уже не смотрели на Микаэля, словно его и не было, и в тот момент ему казалось, что лучше бы его на самом деле не было.

Отправив сотрудников на служебной машине, домой шел пешком. Долго шел, дом был далеко. Подойдя к дому, зайти не захотел. Сел в свою машину. Телефон дрожал, но он не ощущал вибрации. Положил руки на руль, а голову на руки. Сидел так долго, потерял счет времени. Спустилась ночь. А он все сидел. Над ним волновалась толща океана, он был на самой его глубине, на дне той самой Марианской впадины, придавленный бесчисленными тоннами мутных вод. И был еще жив. Как это вообще было возможно?

Забрезжил рассвет. Наступил, несмотря ни на что. Как всегда, как и положено.

Наваждение Камиллы

Первым делом Микаэль перечислил деньги на лечение дочери журналистки – теперь он знал ее имя, Камилла, и еще, насколько позволяла ситуация, двух мальчиков. У дочки Камиллы – Дениз – была опухоль ствола головного мозга, два мальчика страдали лейкемией. Все трое должны были отбыть на лечение в израильские клиники. Микаэль хотел оплатить Камилле и дорогу, но она отказалась, сказала, что кое-что осталось от продажи квартиры.

Когда Микаэль забрал из суда свой ответный иск на предъявленное ему журналисткой обвинение, это очень разозлило Домбровского. Он не мог понять мотивов поступка своего партнера, а когда спрашивал, то вразумительного ответа не получал.

Вечером Микаэлю позвонила секретарша. Она сообщила, что мать одного из отбывающих в Израиль ребенка была сбита автомобилем, и что девочке, несмотря на обслуживающий персонал клиники, без матери вряд ли справиться. Между делом она предложила оформить в клинику Шиба кое-кого другого.

– Что за бред вы несете?!

Через тридцать минут Микаэль был в отделении травматологии. Камилла лежала в общей, пропитанной лекарствами и кровью палате. У нее было сотрясение мозга, перелом двух ребер и ноги. Она была в сознании, плакала, но не из-за себя.

– Я подвела своего ребенка. Они сказали, что теперь… Но ей ждать нельзя! Она и так ждала слишком долго! Время давно не работает на нас!

– Она полетит, не волнуйтесь.

– Но как же без меня?! Ей всего семь! Она психологически может не выдержать!

– Есть способные вас заменить родственники?

– Отца у нее нет, а у моего отца старческая деменция!

– Я с ней полечу. Я веселый, дети меня любят.

– Вы?! – несколько мгновений Камилла смотрела на Микаэля. Несмотря на ссадины на лице, она все равно была очень мила. Он давно это заметил. – Вы не сможете! Вы ей не мать!

– А вы можете предложить что-нибудь получше?

В отчаянии Камилла замолчала.

– Как вас угораздило-то вообще? – прервал тягостное молчание Микаэль.

– Не знаю. Помню только джип перед собой. А потом… я здесь.

– Я поддержу вашу девочку, она не будет одна во время лечения. Я постараюсь с ней подружиться.

Камилла смотрела на Микаэля, которого еще день назад считала врагом всего человечества. Теперь же она вынуждена была доверить ему самое дорогое – своего ребенка. Интересная штука – судьба! Самая, какая только возможно, безвыходная ситуация, прецедента которой, вероятно, никогда не было и быть не могло, пришлась именно на ее долю.

– У нас суд скоро… – сдавленным голосом произнесла Камилла. – Тогда я должна отозвать свой иск! Я позвоню адвокату!

Это было согласие. Микаэль летел в Израиль.

– Поговорите с девочкой по телефону, скажите что угодно, кроме правды, и подготовьте ее к тому, что она полетит с новым доктором с волосами как у ежика.

– А вдруг Дениз испугается, и что вы будете делать, если она будет плакать?!

Микаэль прикрыл веками глаза, что у него означало «не волнуйся, все под контролем» – это всегда срабатывало с женщинами в любой критической ситуации.

– Доверься мне… Тем более, что ничего другого тебе не остается, – перешел он на «ты».

Камилла была в отчаянии. Она так ждала эту поездку в израильскую клинику и все надежды вынуждена была, как и многие другие, возлагать на благотворительные фонды. С фондом «….» творилось что-то неладное, благотворителей значилось немало, реквизиты фонда были отмечены на всех рекламных сайтах, а дело все не двигалось. Камилле не оставалось ничего другого, как начать журналистское расследование. Это было не так-то трудно, в фонде явно зарвались и такого развития событий уже не предполагали.

Камилла и ее коллега Макс даже прибегали к мимикриям, проникали в офисы фонда как курьеры, уборщики, запустили вирус в компьютеры, и сами пришли налаживать систему. Они подслушивали, подглядывали, снимали копии, фотографировали, ставили жучки. Жучки быстро обнаружил Микаэль, замдиректора фонда. Распорядился ожесточить досмотр на входах, «подчистил» документы. Но Камилла с Максом успели добыть некоторую нужную информацию до того, как спугнули преступников.

Камилла смогла остановить процветавшую коррупцию в фонде «…», и хотя привлечь к ответственности ловких мошенников не удалось, все же поставила их на место, заставила прекратить аферы и добилась благотворительной помощи для своей дочери, а заодно и двух других детей.

А сейчас ее дочка уже пять дней, как без мамы, в компании малознакомого человека – одного из тех, по чьей вине она не получила лечение вовремя и столько страдала.

Камилла не находила себе места. Горько усмехнулась иронии судьбы: данная идиома – «не находить себе места» – подходила к ее ситуации как нельзя лучше: Камилла была прикована к кровати.

Она вынуждена была доверить ребенка тому, кого ненавидела больше всего! Попав в безвыходную ситуацию, сама, своим полным отчаяния признанием о том, что с девочкой, кроме нее, больше ехать некому, бессознательно подвела его к тому, что он (вот удивительно) вызвался выручать.

Преступник… Несмотря на преступные действия, которые к тому же коснулись ее дочери, Камилла в последнее время перестала видеть всю эту жуткую ситуацию лишь в черных тонах. Чем больше она общалась с Микаэлем, который стал часто навещать ее девочку в клинике, тем ей становилось понятнее, что в череде его омерзительных поступков все было не так-то просто. Он явно раскаивался и хотел хоть как-то загладить свою вину. Несмотря на глубокую обиду и вообще непонимание возможности жить с таким грузом грехов, Камилла все же не мешала Микаэлю успокаивать, как она считала, свою совесть. Причиной была Дениз. Сникшая и уже отказывавшаяся принимать лекарства, она искренне радовалась его приходу – Микаэль умел показывать фокусы, а на ее настоятельные просьбы открыть их секрет соглашался только если она что-то съест или примет лекарство. Было очевидно – общение с дядей Микой, как девочка сразу стала его звать, было полезно Дениз.

Камилла могла подумать, что такая симпатия, быстро возникшая у ее дочки к Микаэлю – следствие того, что она никогда не видела своего отца. Но с другой стороны, если вспомнить, девочка была дружелюбна далеко не со всеми «дядями», которых видела рядом с мамой.

Лежа на своей койке, обуреваемая самыми ужасными мыслями, чувствуя свою бесполезность и страдая от этого, Камилла имела лишь одну отдушину – разговоры по скайпу с дочкой. Чтобы хоть как-то отвлечься и скоротать мучительно тянувшееся время, Камилла решила заняться тем, чему, кроме любимой дочери, посвятила свою жизнь. Решила писать. Вообще она не могла не писать – ее статьи имели у публики определенный успех, она умела подметить важное и сказать об этом интересно, метко и, как говорят, «с остринкой». Сейчас ситуация и настроение были иные. Она задумала написать нечто в жанре исповеди, рассказать о себе и своей дочке Дениз, о ее болезни, поделиться своими соображениями о том, почему, возможно, они попали в такую беду.

Банальная история

Мне было восемнадцать лет, когда у меня родилась дочь Дениз. В сущности, я сама была еще ребенком, за малейшей потребностью обращалась к родителям, жила вместе с ними, училась в университете за их счет. У нас в роду, насколько мне известно, не было онкологических больных – мои отец и мать не знали таковых до их третьего поколения (дальше уж, конечно, знать не могли), не болели раком и наши родственники. Но, конечно же, я признаю очевидным, что это не гарантия безопасности, в наше время есть много внешних факторов, которые обусловливают появление этой болезни в самых разных ее проявлениях. И я говорю даже не об экологических проблемах, не о загрязненном воздухе и воде, не о массовом стрессе и поголовной депрессии. Здесь я вряд ли скажу что-либо новое. Я и далее буду говорить о банальном… ведь это воспринимается таковым до тех пор, пока не коснется лично тебя…

Я знаю причину болезни моего единственного ребенка – моей дочери Дениз! Я хочу обратиться к общественности… нет, не обратиться, я хочу кричать, кричать как можно громче – мы все в ловушке у транснациональных корпораций, которые и шоколадки не выпустят, чтобы не нашпиговать ее всеми возможными консервантами, усилителями вкуса и, как закон, пальмовым маслом. Все это рекламируется настолько безбожно, что «окно Овертона» превращается в громадную, никогда не запирающуюся дверь…

Но вы, конечно, все об этом знаете…

Приходится писать об общеизвестном. Чтобы была понятна суть нашей с Дениз проблемы. Все знают о списке опасных Е-консервантов. И, как ни странно, почти все, надеясь на то, что ***это*** *их не затронет, пичкают продуктами с их содержимым своих детей по первому их требованию. Трансгенными продуктами переполнены McDonaldsы, куда заботливые мамаши водят своих детей по воскресеньям. Всем известно, чем опасны GMO, но мы, находясь в безвыходном положении, поглощаем их неимоверно, все больше приближая мечту горстки сильных мира сего о золотом миллиарде.*

Но вы, конечно, все об этом знаете…

Сейчас я хочу сделать акцент на другом. Я хочу обратить ваше внимание на нашу беспечность, халатность, а может, и безграмотность некоторых из нас. Спросите, например, у себя, что вы даете каждый день с собой в школу ребенку?.. Или вы будете утверждать, что это свежеприготовленный бутерброд с домашней котлетой? Или пирожки домашнего приготовления? Или еще какой-нибудь домашний пирог? Ведь нет. Возможно, что-то такое и имеет место у тех, кому повезло с заботливыми бабушками, но в большинстве случаев это, к примеру, какой-нибудь бутерброд с колбасой (состав которой, кстати, также настораживает), а чаще – разрекламированные канцерогенные чипсы и сухарики с усилителями вкуса, шоколадки, о составе которых лучше не знать, и йогурты, в которых молока и в помине нет, зато вся таблица Менделеева присутствует. Все понятно, так быстрее работающей маме отправить ребенка в школу, особенно если сам ребенок предпочитает именно ***эту*** *еду, готовую и соблазнительную, а не ту, другую, простую и домашнюю. Вот они, виновники предпочтений – усилители вкуса типа глутамата натрия, калия, всевозможных кислот – глутаминовых, гуаниловых и прочих… И деньги, которые вы даете своему ребенку в школу на обед, также тратятся на всякого рода вредную «вкуснятину».*

Но вы, конечно, все об этом знаете…

А сейчас я хочу сказать о себе. Потому что за свою собственную беспечность была жестоко наказана. Когда я была ребенком и мама давала мне в школу деньги на булочку, она и не знала, что я, как и все мои одноклассники, предпочитала тратить их на готовую, запечатанную в пестрые пакетики еду. И постепенно заметила, что перестала чувствовать вкус пищи натуральной. Что за массовый гипноз! И мы в детстве вместо свежей домашней выпечки предпочитали хрустеть чем-то трансгенным!

Но вы все это, конечно, понимаете!

Вся проблема была в том, что я, как и окружающее меня подавляющее большинство, не придавала значения тому, из чего сделано то, что я ем. Да, пишут об этом, говорят, но со мной, без сомнения, ничего плохого не случится, потому что со мной вообще ничего плохого случиться не может. Увы, свойственное многим коварное заблуждение. Иногда мы думаем, что информация о вреде продуктов в некотором роде преувеличена. Или же это антиреклама, призванная навредить производителям…Довольно часто это еще одно коварное заблуждение.

Когда я носила под сердцем свою дочь Дениз, «Fastfood»-ы зачем-то часто предпочитала чему-то домашнему и естественному…

Не забывайте, мне еще не было восемнадцати…

Вот и вся моя банальная история, читать которую, мои дорогие читатели, если у вас вообще хватило терпения дойти до этих строк, вряд ли было вам интересно.

Чем закончилась моя банальная история? Или, если хотите, история моей, и не только моей, глупости? Наверное, тем, чем должна была закончиться – раком. Только, к сожалению, не у меня, а у моей дорогой дочери Дениз, которая вот уже год как борется со смертью.

Берегите себя! Берегите особенно своих детей, уж не знаю как, но берегите. Потому что с тех пор, как заболела Дениз, я больше всего жалею, что не заболела сама. Что делать, спросите вы? Я бы добавила немного задора в мое печальное повествование и ответила бы вам: господа, обзаведитесь своей собственной фермой! Конечно, воздухом дышать ни себе, ни коровам вы не запретите, но все же будете уверены во многом другом… Смешно? Тогда купите собственное охотничье ружье и сами ходите в лес на охоту.))

Закончу тем, с чего начала. Мы все в ловушке. Нет выхода, мы болеем, а многоотраслевые транснациональные корпорации набирают обороты. И не судите меня строго за то, что не сказала ничего нового. Основное послание моей исповеди: – зная, не забывайте, понимая – не игнорируйте! И да поможет вам Бог.

Закончив статью, Камилла сразу распространила ее в интернете.

Осознавая всю простоту и даже, как она была уверена, бесталанность своей статьи, она не стала предлагать ее в газетные издательства. Слишком велико было ее горе, чтобы позировать сейчас искусством слова. «Истина – проста, – успокаивала она себя, – а значит, правда, тем более жуткая, имеет право на простое изложение».

Камилла откинулась на подушку. Она думала о том, что если благодаря ее исповеди спасется хотя бы один ребенок, то все ее страдания вместе взятые обретут какой-то смысл.

В своей статье-исповеди Камилла не затронула проблему коррупции в благотворительном фонде «…». Она уже писала об этом не раз, но теперь испытывала двойственные чувства. Ее обида, страх за жизнь дочери и жажда справедливости

уступили место вновь обретенной надежде и чувству благодарности тому, кто сейчас всеми силами старался помочь. Камилла видела его переживания, она приняла долгожданные деньги и догадывалась, что это были личные средства Микаэля. Этот человек, несмотря на проблемы, которые, кстати, пусть и справедливо, но создала именно она, сейчас поддерживал ее дочь в ее борьбе с болезнью в далеком Израиле, в то время как она, хоть и не по своей вине, но не принимала участия в столь волнительном для нее процессе.Томительное ожидание изнуряло Камиллу, она просто рвалась к дочери на помощь, но тело не пускало ее. Понимая ее страдания, Микаэль аккуратно давал ей отчет о ходе лечения и состоянии Дениз. В клинике Шиба был подтвержден диагноз Денизы – опухоль ствола головного мозга. С посланного факсом согласия матери (адвокат Микаэля взял на себя техническую сторону оформления документа) девочке сделали вентрикулоперитонеальное шунтирование. Теперь Дениз предстояло перенести три десятка фракций радиотерапии.

– Спасибо тебе, Микаэль, – в первый раз смогла сказать ему Камилла. Дениз была настолько обессилена, что только слабо улыбалась в экран планшета.

Через три месяца у Дениз наступила ремиссия.

Дочку Камилла встречала на костылях – это был самый радостный день в ее жизни. Девочку нес на руках Микаэль – Дениз прижалась к нему и обвила руками его шею, по всему было видно, как они подружились за это время. Микаэль навещал их каждый день, и если вдруг дела задерживали его, Дениз бывала очень расстроенной.

Узнав, что Камилла готовит дочку в школу, Микаэль купил ей большущий футляр – набор школьных принадлежностей, самый модный сейчас среди учеников. Камилла была тронута, она давно уже не смотрела на Микаэля как на врага всего человечества, видя, как с каждым днем поправляется ее дочь, убедила себя в том, что нет греха, которого нельзя было бы простить, если человек в нем искренне раскаивается. Микаэль за время пребывания с Дениз в израильской клинике привязался к ней, тем более, что это было очень легко сделать – девочка была очень милой и ласковой. Особенно впечатляли ее темные глаза, которые казались бархатно-черными в контрасте с бледным личиком. Чертами лица она была похожа на свою мать.

Шло время. Между тремя, так странно сведенными друг с другом людьми крепла дружба. Дениз тянулась к обаятельному шутнику дяде Мике, Камилла все больше испытывала к нему чувство благодарности за спасение дочери. И допустила его к себе намного ближе, чем могла бы представить себе еще месяц назад. Жили на его даче – Дениз свежий воздух был необходим. Камилла часто наблюдала за копающимся в саду или работающим перед компьютером Микаэлем и пыталась уразуметь умопомрачительный факт – насколько противоречивым может быть человек…Микаэль оказался очень заботливым и лишенным определенных гендерных стереотипов. Он часто повторял, что настоящий мужчина не стыдится заботы о своей женщине, он всегда помогает ей во всем, а особенно в уходе за ребенком. И доказывал это на деле.

Утром Микаэль уезжал на работу и возвращался под вечер. Однажды со свойственной ему откровенностью Микаэль сказал Камилле, что с его партнером, основателем фонда Домбровским, в последнее время отношения сильно обострились. Камилла ожидала этого. Она уже давно поняла, что во всей этой уродливой ситуации с присваиванием благотворительных денег Домбровский был серым кардиналом.

А вечером, после далеко не первой рюмки абсента, Микаэль рассказал Камилле, что недавно, копаясь в старых бумагах отца, обнаружил папку с документами, вероятно, им же собранными, в которых содержались компрометирующие Альберта

Домбровского сведения. Оказывается, являясь замом главы кампании, то есть отца Микаэля, Домбровский путем ловких махинаций обкрадывал фирму. Получается, в свете грозящего Домбровскому разоблачения отец Микаэля погиб весьма вовремя.

– Автлмобиль отца нашли в глубоком кювете. Я совсем юношей был, отказывался принять мачеху и, знаешь, насмотревшись фильмов, стал винить во всем ее. Но в полиции пришли к заключению, что отец, возвращаясь с корпоратива подвыпившим, сам не справился с управлением. Сейчас же найденные мною документы пролили свет на обстоятельства гибели отца. И вчера… мне вдруг пришло в голову… а ведь характер аварии, в которую попал мой отец, очень схож с несчастным случаем, который произошел с тобой…Как ты уже поняла, отцу помогли угодить в кювет. И я уверен, что и тебя сбили не случайно. И в том, и в другом случае вы оба так или иначе угрожали благополучию Домбровского. Кстати, он объявил о банкротстве компании отца вскоре после его гибели… Знаешь, я только сейчас понял, какой опасности ты подвергалась, пока мы были в Израиле. А если бы ему пришло в голову закончить начатое?! Хотя… Вероятнее всего, он просто хотел тебе навредить… из мести… Фактической угрозы ты уже… ведь… не представляла… – Последнюю фразу Микаэль произнес, запинаясь.

– Когда я шла на все это, я знала, чем рискую. Девочке моей становилось все хуже, и у меня не оставалось выхода. – Микаэль молчал. Он старался избегать прямого касания темы своего прошлого в фонде. Но это было невозможно. И это никогда не было бы возможно. – Дениз теперь лучше, – продолжала Камилла, – есть у нас надежда. Я тебя, Микаэль, «разбудила»… Кто знает, может, душу твою спасла…А насчет этого Домбровского… Можно дать тебе совет? Если враг не знает, о чем ты думаешь, он не угадает твоего следующего шага. Я лишь прошу тебя, чтобы этот твой шаг не был похож на твои предыдущие шаги.

На круги своя

Микаэль нашел Домбровского на его приморской вилле.

– Ну, как дела в фонде? – как всегда, перешел сразу к делу Альберт.

Микаэль сел напротив Домбровского и положил перед ним найденную в сейфе отца папку с компроматом. Домбровский понял не сразу. Просмотрев несколько документов, проговорил:

– Таки всплыло шило…

– Тебе-таки нечего сказать… – В висках у Микаэля застучало. Он смотрел на этого, перевернувшего всю его жизнь и изменившего его натуру человека и понимал, что страшный монстр снова проснулся в нем. Он, словно разрывающий копытом землю бык, готовился к нападению. Теперь это был снова тот, снова способный на многое, прежний Микаэль. – Почему ты убил отца, я понял, жалкий ты, меркантильный ублюдок. Почему по твоей вине Камилла в больнице оказалась, тоже ясно. И в свой фонд почему меня работать позвал… всегда было понятно – где еще такого найти… парня с нелегкой судьбой и с пустым карманом. Ведь ты все для этого сделал!

– Верно, скажем точнее – козла отпущения нашел. С тобой, да и с папашей твоим, это всегда легко получалось!

Вскакивая, Микаэль, понимая, что у Домбровского наготове пистолет, опрокинул на него стол. Раздался выстрел, но куда-то мимо. В следующее мгновение Микаэль уже всадил в него нож. Убивая Домбровского, Микаэль верил, что одним

подонком в этом мире теперь будет меньше. И в тот момент подсознание рисовало ему еще одного такого… Какой финал ожидает его?

Охранники на вилле знали Микаэля. Поэтому лишь когда раздался выстрел, они побежали к веранде. Обнаружили только мертвого босса.

Прозрение Камиллы

Микаэль, Камилла и Дениз жили на Гавайях. После происшествия на приморской вилле Домбровского Микаэль убедил Камиллу, что уехать из страны будет лучше всего, да и Дениз воздух океана должен был пойти только на пользу. Реабилитацию в израильской клинике девочка уже прошла.

Микаэль погасил долги, свернул работу фонда, отрегулировал уже готовившиеся возникнуть связанные с убийством Домбровского проблемы. Телохранителям Домбровского было заплачено, и они нашли себе работу у другого босса.

Казалось, что Дениз поправится окончательно. Она стала веселее, болтала то с мамой, то с дядей Микой, улучшился аппетит. Конечно же, эта девочка делала погоду в их маленьком мирке, от нее зависело настроение всех. Однажды на пляже она взяла дядю Мику за руку и, глядя своими блестящими, совсем как лучи гавайского солнца, глазами, с наивной улыбкой спросила:

– Дядя Мика. Может, все-таки женишься, наконец, на маме? Я ведь тебе все же не племяшка какая, дядей называть…

– Дена! – строго окликнула ее мать.

– Дена! – шутливо передразнил ее Микаэль. – Я давно хочу сделать предложение твоей маме, но боюсь, что она утопит меня во время первого же прилива.

– Мама, не топи дядю Мику, – засмеялась девочка. – А лучше скажи, что согласна!

– Это запрещенный прием, дядя Мика! – смутилась Камилла. Но дальше эту тему развивать не стала.

Через несколько дней, поздним вечером, как всегда сидели на берегу. Нежное воркование ветерка и шум прибоя ласкали слух, а звезды золотыми бликами разукрашивали черные воды.

– Кама… пусть не звучит как-то банально... приторно, что ли… у меня такое чувство, что я тебя знал всегда… во все времена… Еще до сотворения этих звезд… Фу, как пошло… – Микаэль усмехнулся.

– Удивительно, – совершенно серьезным тоном отозвалась Кама. –У меня такое же чувство. Ты какой-то мне очень знакомый, понятный… – Камилла улыбнулась. – Нет, правда, как будто и в прошлых жизнях мы всегда, несмотря на препятствия и трудности, находили и прощали друг друга, были вместе во всех реинкарнациях… Ты веришь в реинкарнацию?

– Да, наверное… с тех пор, как с тобой… Познакомились странно, и вот…

– Мы договорились не вспоминать, – оборвала Камилла.

– Прости…Тебе неприятно, понимаю. Я сам себе мерзок.

– Ну так вот, значит, и в будущих жизнях мы друг друга найдем?

Где-то за горизонтом упала звезда.

– Я загадал, чтобы мы не расставались хотя бы в этой жизни...Выйдешь за меня?

Камилла больше не раздумывала.

– Выйду.

…– Кам, куда девались твои эндорфины? Почему ты такая грустная сегодня?

Утро было прекрасным, день обещал быть еще лучше, и Микаэль не понимал, почему Камилла не вписывается в его настроение. Как все мужчины, он был эгоистичен в чувствах и не любил, когда его женщина испытывала эмоции, отличные от его собственных. Хотя они договорились, что не будут ворошить прошлое, Микаэль, в последнее время часто замечавший тень тревоги на лице Камиллы, стал приписывать это именно плохим воспоминаниям. Но ответ Камиллы насторожил его.

– Меня Дениз беспокоит.

– Что случилось? Ей же хорошо, иначе я бы заметил.

– Да, пока хорошо… А вдруг…

– Да не накачивай ни себя, ни меня! Мы все делаем.

Микаэль обнял ее, и она немного успокоилась.

Между тем Дениз вдруг выдала – стала называть Микаэля не дядей Микой, а как-то странно: па-ё.

– Что это значит? – удивились Микаэль с Камиллой. Обоим стало смешно.

– Ну что тут непонятного? Посмотри, мама, волосы у дяди Мики как у ёжика. Значит, последняя буква означает «ёжик».

– Ну хорошо, а что означают первые две?

Дениз не ответила, упрямо поджала губы и убежала.

– Я, кажется, знаю, что означают первые две буквы, – сказала Камилла. Микаэль внимательно изучал песок под ногами, но на губах играла довольная улыбка. – Папа ёжик, вот что это значит! – озвучила догадку обоих Камилла.

– Значит, надо торопиться! Мне так не терпится стать ее официальным папой ёжиком!

…Дениз стало плохо неожиданно. Микаэль с Камиллой срочно отвезли ее в Израиль. У нее начались метастазы.

– Но вы говорили, что этого можно избежать!!!

– Вы лечение начали поздно! – развел руками врач.

Вечером Дениз обняла мать:

– Мама, прости, что опять заболела. Ведь папа ёжик завтра должен был стать моим настоящим папой ёжиком.

– Не думай об этом, – едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, отвечала мать, – тебе непременно станет лучше, и все будет так, как ты хочешь.

Но лучше Дениз не становилось. Прошел месяц, в течение которого она угасла совсем. В последнюю ночь Дениз попросила Микаэля вынести ее в сад. Они сидели на скамейке, и она вдруг сказала:

– Я и в школу не ходила.

– Да ты пойдешь, родная моя, – поторопился ответить Микаэль. Но получилось не очень убедительно.

Девочка не смотрела на него.

– Хватит. Я к маме хочу.

А мама уже к ним бежала…

…Пять дней спустя вернулись на Гаваи. Было тяжело, здесь все напоминало о Дениз. С тех пор, как ее не стало, они почти друг с другом не разговаривали, между ними повисло то особенное напряжение, которое можно было бы объяснить двумя

словами: обвинение – вина. Вскоре стало известно, что отправленные вместе с Дениз в израильские клиники два мальчика также не выжили.

Так прошла неделя. Наконец Камилла разорвала тягостное молчание.

– Нам нужно с тобой поговорить…

Микаэль знал наперед каждое ее слово.

– Езжай, – был простой, лаконичный ответ.

– Я не могу…

– Езжай! – повторил он.

Микаэль прикрыл веками глаза, глаза, которые теперь не выражали ничего – ни сожаления, ни боли, ни горя. Они были пустые. Тогда Камилла еще не поняла, что это означало нечто запредельное в душе, нечто, что уже несовместимо с реальным восприятием мира и своего эго в нем.

Камилла покинула его. А он стоял на берегу, бессознательно пытаясь оживить свои воспоминания счастливых дней звуками прибоя…воспоминания иллюзий.

Зов океана

Ром. На Гавайях его пьют много. Микаэль глушил горе ромом. Рома много, мыслей мало. А когда они, эти мысли, снова размножаются, тогда – еще ром. Однажды он пришел в себя, лежа на мирно дрейфующем сёрфе, недалеко от берега.

Вообще, все вокруг как в тумане. Сплошная несуразица, как вся его жизнь. Его действия какие-то механические, поступки лишены осмысления.

В этот раз Микаэль не просчитал поведение волн, как обычно полагается сёрферам перед выходом в океан, а в особенности покорителям Джоуз. Он понятия не имел, сколько их в каждом сете, как долго сохраняется пена после обрушения каждого «чудовища». Дал команду забросить его на волну не очень-то внимательному гидроциклисту. Он пренебрег осторожностью, ведь океан был ему подвластен, он чувствовал его дыхание…Иллюзия, каких в жизни у него было немало.

Не подозревая, что напарник его всю ночь не спал и пил ром, гидроциклист забросил его на гребень волны. Вероятно, нога выскользнула из петли. Или еще проще – он просто не удержался. Почему-то последним воспоминанием из его короткой, но полной событий жизни был его, когда он был еще дайвером-любителем, неосторожно стремительный подъем из глубины на поверхность, и как результат – начальная стадия декомпрессионной болезни. Тогда его спасли – поместили в барокамеру.

Сейчас, опрокидываясь в самое нутро ревущего чудовища, он ощутил нечто противоположное – словно он только что поднялся на поверхность со дна самой Марианской впадины, да еще с огромной скоростью… Такого не бывает. И не могло быть такого в его реальной жизни, когда, находясь на самом дне «самой глубокой точки океана», он вообразил, что сможет молниеносно оказаться на поверхности и обрести истинное счастье.

Это было последнее, что донесло до него его разрушающееся сознание. Челюсти гигантского монстра сомкнулись и поглотили незадачливого райдера. Он навсегда исчез в пенистой бездне, так и не оставив следа в этом мире, даже такого обычного, как могила. Океан забрал его, и вряд ли кто-нибудь когда-нибудь спохватится о нем и спросит: а где этот, совершавший и злое, и доброе, человек? Он ведь был когда-то… Или это иллюзия?

ЛЯМАН БАГИРОВА

Визит к ускользающему

Эссе

Жить в обществе – не значит ли – прощать?
И.Бродский

Откровенно говоря, ни к одной своей работе я не приступала в таких смешанных чувствах. Творчество и сама личность Иосифа Бродского представляются мне очень сложными. Вернее, ускользающими от привычного взгляда обывателя. Метафизический смысл его стихов, его удивительный синтаксис требуют пристального и длительного внимания. О Бродском, особенно в последнее время, написано очень много. Изданы книги, статьи, сняты фильмы, телевизионные передачи-воспоминания о нем, известные артисты выступают с чтением его стихов. В последние две недели я пересмотрела и перечитала в библиотеке и интернете, кажется, все о Бродском, начиная от фильма «Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину»(2009 года) и воспоминаний о нем его друга, поэта Евгения Рейна, и заканчивая слушанием стихов Бродского в исполнении М.Козакова, М.Завьялова, Е.Фроловой и, конечно, самого автора.

И впечатление от всего (если отвлечься от волшебного чувства первого восприятия) одно: **ускользающий**. Словно тысяча людей будет с пеной у рта дискутировать об особенностях его поэзии и эссеистики, а еще тысяча будет взахлеб декламировать или петь песни на его стихи, и все равно над всеми ними ОН – ироничный, с усмешкой на тонких губах, с жестким прищуром глаз, прикрытых очками.

«Очень сложный, очень трудный человек был в общении», – вспоминал о нем М.Козаков. «В багрец и золото одетая лиса», – иногда в шутку называл его Рейн в свои наезды в Америку. – Он уже совершенно точно знал, где, с кем и как нужно говорить и как себя вести в той или иной ситуации».

Другу, наверно, виднее. Как мне кажется, самый искренний, пронзительный, самый душевный Бродский проявился в эссе «Полторы комнаты», написанном им на английском языке и посвященном памяти родителей, с которыми так и не смог увидеться после вынужденного отъезда из СССР.

Я не буду повторять все в огромном количестве написанное о нем. Это с легкостью можно найти в интернете. И это при том еще, что И.Бродский просил своих друзей дать подписку в том, что до 2020 года никто не будет рассказывать о Бродском как о человеке и не будет обсуждать его частную жизнь; о Бродском-поэте говорить не возбранялось, и при том, что по требованию Фонда наследственного имущества «написание биографии запрещено до 2071 года…» – то есть на 75 лет со дня смерти поэта «закрыты все письма Бродского, дневники, черновики и так далее…». И, несмотря на все это, материалов о нем и его творчестве – масса. Ничего нового прибавить или убавить к ним я, естественно, не могу.

Но поделиться личными впечатлениями от посещения его кабинета в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге и от прочтения его стихов и отрывков из интервью, пожалуй, в моей власти.

…Это был обычный декабрьский день. Мы отправились в дом-музей А.Ахматовой в Фонтанном доме.

– А еще, – повторяла я с воодушевлением подруге, – побываем в музее И.Бродского в доме Мурузи, в доме-музее Некрасова и…

Принялись рыскать в телефоне, искать адрес, пролагать оптимальный маршрут.

Стоп! Дома-музея И.Бродского нет. Вообще нет. Есть только американский кабинет И.Бродского в доме-музее А.Ахматовой. Ну что ж, удача! Значит, одним походом убьем двух зайцев.

Кабинет – своего рода модель сознания поэта, отображающая образ жизни, независимо от того, в какой точке земного шара он находится.

И. Бродский никогда не жил в Фонтанном Доме и даже никогда не бывал здесь. Но волею судеб его духовная связь с Анной Ахматовой, начавшаяся еще в 1960-е годы при жизни обоих, продолжилась и после их смерти.

В 2003 году вдова поэта Мария Бродская-Соццани передала Музею Анны Ахматовой в Фонтанном Доме вещи из его дома в небольшом американском городке Саут-Хедли в штате Массачусетс, где Бродский преподавал с начала 1980-х: письменный стол, секретер, настольную лампу, кресло, диван, постеры, связанные с итальянскими поездками Бродского, его библиотеку, коллекцию почтовых открыток.

Первое впечатление – каюта корабля. Замкнутое, строго очерченное пространство, словно застегнутое на все пуговицы. Геометрия. Четкие линии, углы, круги, овалы, квадраты, прямоугольники во всем – в расстановке мебели, рамках картин, подушках на диване. Даже узор на покрывале и ковре – и тот в геометрических фигурах. В секретере и на стене портреты Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама. Приглушенный свет. Отдельным коричневым четырехугольником – знаменитый кожаный китайский чемодан, с которым Бродский покидал страну, и верхом на котором его запечатлел отец – профессиональный фотограф Александр Бродский за несколько часов до отъезда сына 4 июня 1972 года.

И в кассетных записях – глуховатый, монотонный голос самого поэта, рассказывающий о времени и о себе.

«Как ты жил в эти годы?» – «Как буква «г» в «ого».
«Опиши свои чувства.» – «Смущался дороговизне».
«Что ты любишь на свете сильней всего?»
«Реки и улицы – длинные вещи в жизни».
«Вспоминаешь о прошлом?» – «Помню, была зима.
Я катался на санках, меня продуло».
«Ты боишься смерти?» – «Нет, это та же тьма;
но, привыкнув к ней, не различишь в ней стула».

Два слоя времени – конец 1980-х, когда Бродский в Америке пишет свое эссе «Полторы комнаты», и середина 1960-х, о которых идет речь в этом эссе. Полупрозрачные листы, наслаиваясь друг на друга, имитируют и рукописи, и *«….складки, морщины, ряби…»* – движение воды и времени.

Он очень любил воду. Во всех интервью никогда не называл ее «водой» – только ласково – «водичка». Отождествлял жизнь с течением реки, стремился жить там, где есть водоемы.

На матовых листах, покрывающих стену, лица родителей, последнее письмо отца с просьбой разрешить ему поездку к сыну в Америку.

«Я вижу их лица, его и ее, с большой ясностью, во всем разнообразии выражений, но также фрагментарно: моменты, мгновения…»

На протяжении двенадцати лет Бродский посылал своим родителям приглашения на поездку в Америку, и все эти годы они получали в ответ на заявления бумагу с грифом «нецелесообразно». Они умерли, не узнав, что их сын стал лауреатом Нобелевской премии.

12 раз родители Бродского подавали прошение на имя руководства страны с просьбой о выезде и с надеждой увидеть единственного сына.

«Моя единственная мечта – увидеть тебя, сынок», – кричала ему мать во время телефонных разговоров. Мария Вольперт – переводчик с немецкого языка, великолепная хозяйка и хранительница семейного очага умерла в 1983 году. Через год с небольшим скончался отец. Оба раза Бродскому не разрешили приехать на похороны.

Эссе памяти родителей написано в 1985 году на английском языке. Бродский очень сдержанно, поэтично и четко объяснил это:

«*Пишу сейчас по-английски для того, чтобы подарить им клочок свободы, клочок, размеры которого тем больше, чем больше людей захотят прочитать эти страницы. Пускай Мария Вольперт и Александр Бродский оживут на «чуждых берегах», пусть их дела будут названы английскими глаголами. Их это не воскресит, но английский язык надежнее русского поможет им ускользнуть от печи Государственного Крематория. Писать о них по-русски значило бы только содействовать их неволе, их уничижению. Понимаю, что не следует отождествлять государство с языком, но двое стариков, скитаясь по многочисленным государственным канцеляриям и министерствам в надежде добиться разрешения выбраться за границу, чтобы перед смертью повидать своего единственного сына, неизменно именно по-русски слышали в ответ двенадцать лет кряду, что государство считает такую поездку «нецелесообразной». … по-русски мои слова не увидят света под русским небом. Кто их прочтет? Несколько эмигрантов, чьи родители умерли или умрут, занятые теми же хлопотами. Они и так все знают на собственной шкуре. Они и так знают, что значит запрет увидеть мать или отца на смертном ложе, что значит молчание в ответ на просьбу о срочной визе с целью успеть на похороны кого-то из близких. И – поздно, человек выходит на улицу чужого города в чужой стране, и ни в одном языке нет слов, чтобы описать, что он чувствует, ни слов, ни слез… Им – что я могу сказать? Чем утешить?.. Да примет английский язык мертвецов моих. По русски я буду читать, писать стихи, письма. Но для Марии Вольперт и Александра Бродского английский язык даст наилучшую возможность загробной жизни, быть может, единственную, кроме их жизни во мне.*»

«*…старайтесь быть добрыми к своим родителям ...ибо, по всей вероятности, они умрут раньше вас, так что вы можете избавить себя по крайней мере от этого источника вины, если не горя. Если вам необходимо бунтовать, бунтуйте против тех, кто не столь легко раним. Родители – слишком близкая мишень (так же, впрочем, как братья, сестры, жены или мужья); дистанция такова, что вы не можете промахнуться...*»

В сентябре 1990 года Бродский женился на итальянке, русского происхождения Марии Соццани. В июне 1993 года у них родилась дочь, которую он назвал Анна Александра Мария в честь Анны Ахматовой, отца и матери. Это был третий ребенок поэта.

Первый – сын – родился еще в СССР от художницы Марианны Басмановой, с которой у Бродского был долгий и мучительный роман, и о которой даже в конце жизни он признавался: *«Я все еще болен Марианной»*. Вторая – дочь Анастасия от балерины Марии Кузнецовой, родилась в год отъезда поэта из СССР.

Казалось, все плохое осталось далеко позади, и после перестройки Бродского стали печатать на родине, а после присуждения Нобелевской премии посыпались приглашения вернуться. Бродский откладывал приезд. Отчасти по состоянию здоровья (перенес 4 инфаркта), отчасти… На слова журналиста и музыковеда Соломона Волкова «Теперь я, пожалуй, понимаю, почему вы до сих пор не съездили в Россию, в частности, в родной город», – Бродский ответил: «*Ну мы ведь знаем, что дважды в ту же самую реку вступить невозможно, даже если эта река – Нева. Более того, на тот же асфальт невозможно вступить дважды, поскольку он меняется после каждой новой волны трафика. А если говорить серьезно, современная Россия – это уже другая страна, абсолютно другой мир. И оказаться там туристом – ну это уже полностью себя свести с ума. Ведь, как правило, куда-нибудь едешь из-за некоей внутренней или, скорее, внешней необходимости. Ни той, ни другой я, говоря откровенно, в связи с Россией не ощущаю. Потому что на самом деле – не едешь куда-то, а уезжаешь от чего-то. По крайней мере со мной все время так и происходит. Для меня жизнь – это постоянное удаление «от». И в этой ситуации лучше свое прошлое более или менее хранить в памяти, а лицом к лицу с ним стараться не сталкиваться...*»

Круг был очерчен. Комната, похожая на каюту подводного корабля мерно качалась в волнах времени и глуховатого голоса поэта. Даже окон в ней не было, а квадраты освещенных постеров напоминали задраенные люки.

Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня.

Меня не покидало странное ощущение. Пространство заполнял голос поэта, создавался полный эффект его присутствия, при полном, естественно, отсутствии. Словно знаешь, что в комнате есть кошка, но не видишь ее. Ускользающая кошка. Кошка-стеллс.

Бродский питал нежность к кошкам, считал, что это лев в миниатюре и ни в ком так не проявляется отвага, ласка и достоинство как в этом звере. *«Кошка, в отличие от людей, гармонична по природе своей. Нет ни одной позы, ни одного движения, когда бы кошка не была гармонична, а значит прекрасна».*

Да, но надо еще добавить, что кошка – единственное домашнее животное, которое так и не удалось окончательно приручить и подчинить, которая приходит, когда ей вздумается и гуляет сама по себе…

Он хорошо рисовал котов, и даже в его речи его часто проскальзывали мяукающие, распевные звуки.

«Бродский был стариком уже в шестидесятые, – написал о нем Э. Лимонов. – Уже тогда был лыс, уклончив и умел себя поставить. Создать ощущение недоступности.

А может, он всю жизнь боялся людей, потому и общался только с самыми близкими, проверенными...»

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
Но с куриными мозгами хватит горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря...

Жизнь в глухой провинции у моря, в отдалении от «слабых мира этого и сильных» не получилась. В 1987 году Бродскому присуждают Нобелевскую премию по литературе. Свою речь он начал словами, как нельзя лучше передающими его стремление быть незаметным:

«*Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко – и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, – оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и испытание*».

Удивительная, впитавшая *«странные сближенья»* и смыслы жизнь, словно *«ткань, впитавшая полуденное солнце»*. И смерть была ей под стать.

Иосиф Александрович Бродский скоропостижно скончался в ночь с 27 на 28 января 1996 от инфаркта. Накануне поднялся в свой кабинет: надо было подготовиться к завтрашней лекции. Наутро его нашла жена на полу. Бродский был полностью одет, на письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга.

«За две недели до смерти (а я с ним разговаривал за два часа до его кончины), – вспоминал друг поэта Илья Кутик, – он купил себе место на кладбище. Смерти он боялся жутко, не хотел быть ни зарытым, ни сожженным, его устроило бы, если бы он оказался куда-нибудь вмурованным. Так оно поначалу и получилось. Он купил место на нью-йоркском кладбище. Это была его воля.»

А через год было перезахоронение в Венеции. Городе, который поэт любил так же как Ленинград. И который тоже стоит на любимой его «водичке». Депутат Госдумы Г.Старовойтова прислала телеграмму с предложением похоронить его на Васильевском острове, ссылаясь на строки поэта: «*Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать*», но оно было отвергнуто – это означало бы фактически решить за него вопрос его возвращения на родину. И Мария Соццани принимает решение похоронить поэта в Венеции, на кладбище Сен-Микеле, которому он тоже посвятил стихи:

Хотя бесчувственному телу
равно повсюду истлевать,
лишенное родимой глины, оно в аллювии долины
ломбардской гнить не прочь. Понеже
свой континент и черви те же.
Стравинский спит на Сан-Микеле...

Дальше началась история в духе Гоголя. Бродский не был ни иудеем, ни христианином, вообще не принадлежал ни к какой конфессии. У Бродского было два определения себя русский поэт и американский эссеист. И все.

Мистика началась уже в самолете, гроб в полете открылся. Американские гробы закрываются на шурупы и болты, они не открываются даже от перепадов высоты и давления. В Венеции стали грузить гроб на катафалк, он переломился пополам. Бродского пришлось перекладывать в другой гроб.

Дальше на гондолах его доставили на Остров Мертвых. Первоначальный план предполагал его погребение на русской половине кладбища между могилами Стравинского и Дягилева. Оказалось, это невозможно, поскольку необходимо разрешение Русской Православной Церкви в Венеции. Разрешения не дали, потому что Бродский не был православным. Католическая церковь в погребении тоже отказала.

Начались метания, часа два шли переговоры. В результате принимается решение похоронить его на протестантской стороне кладбища. Там нет свободных мест, С большим трудом находят – в ногах у поэта Эзры Паунда. Паунда как человека и антисемита Бродский не выносил, но как поэта ценил. Начали копать – из земли торчат черепа и кости, хоронить невозможно. В конце концов, бедного Иосифа Александровича в новом гробу отнесли к стене, за которой была сосредоточена всякая кладбищенская техника. Положили ему бутылку его любимого виски и пачку любимых сигарет, захоронили практически на поверхности, едва присыпав землей. В головах поставили крест. И только потом уже был поставлен небольшой скромный памятник.

И еще одно обстоятельство, о котором писали только в Италии. Президент России Борис Ельцин отправил на похороны Бродского шесть кубометров желтых роз. Михаил Барышников с компанией перенес все эти розы на могилу Эзры Паунда. Получилось так, что ни одного цветка с родины на могиле Бродского не было…

«Вы действительно совсем не ощущаете своей российскости? – спросила поэта как-то молодая журналистка. – Просто сложился миф, что вы оторвались от России».

Бродский ответил: «*Ну, миф – это не мое дело. Знаете, тут есть одна довольно интересная вещь. Есть колоссальное достоинство и мудрость в том, чтобы сидеть на одном месте и смотреть на мир, и тогда в тебе все отражается, как в капле воды. Но я не думаю, что это плодотворно. Что ты выигрываешь в этом случае, так это душевный, если хотите, духовный комфорт. Человек ведь на самом деле изрядный буржуа и, по существу, стремится к комфорту. А самый главный комфорт – это комфорт убеждения и нравственной позиции. Куда, на мой взгляд, интереснее, но и опаснее дискомфорт, когда тебе никто и ничто не помогает, когда тебе не на что опереться, и если все же вообразить, что ты дерево, то поддерживают тебя не корни, но вершина, которую треплет изрядно. Говорят, дискомфорт губителен, но я воспитался на том, что читал. И мне так повезло, совпало так, что читал я Марину Ивановну (Цветаеву) и одновременно Льва Шестова – философа. А Шестов ужасно любил цитировать Тертуллиана «Верую, ибо это абсурдно». И вот когда вы дочитываетесь до такого... Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Но блаженнее, кто верует, когда ему холодно на этой земле... Мир, который начинается не в центре, а мир, начинающийся с окраин, потому что окраины – это не конец мира, но начало его. Мне кажется, эта схема ближе нашему поколению*...»

Трудно определить, с какими чувствами я покидала кабинет Бродского в Фонтанном доме. Чувства ускользали, не поддавались выражению. Но сейчас, изучив многое, что можно было найти о Бродском и, сравнив изученное со своими впечатлениями, наверно повторю его же слова: «*Верую, ибо это абсурдно. Блаженнее тот, кто верует, когда ему холодно на этой земле*».

Лучше не выразишь…

Иосиф Александрович, светлая память Вам… 24.05.1940 – 28.01.1996.